



Карл Штайнер

7000 ДНЕЙ В ГУЛАГе



Истории и тайны (АСТ)

Карл Штайнер
7000 дней в ГУЛАГе

«АСТ»

УДК 94(100)"1939/45"
ББК 63.3(0)62

Штайнер К.

7000 дней в ГУЛАГе / К. Штайнер — «АСТ», — (Истории и тайны (АСТ))

ISBN 978-5-17-101852-8

Перед вами мемуары австрийца Карла Штайнера, который 20 лет провел на островах архипелага ГУЛАГ (Бутырка, Лефортово, Александровский централ, Соловки, «Норильлаг» и «Озерлаг»). Он начинал отбывать свой срок с сестрой Генриха Ягоды, заканчивал – с родственниками Лаврентия Бери, испытал все ужасы репрессий и политического насилия. «В тюрьмах НКВД, в ледовых пустынях Крайнего Севера, повсюду, где мои страдания превышали человеческую меру и границу терпения, я носил в себе единственное желание – все это перенести и рассказать всему миру и, прежде всего, своим товарищам по партии и друзьям, о том, как мы эти ужасы пережили... Я редко пускался в анализ и комментарии событий. Я хотел прежде всего описать голые факты. А читатель пусть сам вершит свой суд».

УДК 94(100)"1939/45"
ББК 63.3(0)62

ISBN 978-5-17-101852-8

© Штайнер К.
© АСТ

Содержание

Предисловие переводчика и составителя	6
Предисловие автора	9
Часть I	10
Москва, 1936 год	10
Лубянка – главный штаб НКВД	12
Бутырская крепость	20
Военная тюрьма в Лефортово	27
Военный трибунал	30
Путь в Сибирь по этапу	31
Я еду!	36
Во Владимирской пересылке	38
Часть II	42
Кремль	42
На острове Муксалма	44
Смерть Станко Драгича	51
Расстрел монахинь	53
Эвакуация с Соловецких островов	56
Часть III	60
Чти отца с матерью!	60
Как мы строили железную дорогу	61
Как мы строили Норильск	66
Смерть Рудольфа Ондрачека	68
Трагедия лагеря «Горная Шора»	71
Венгерский адвокат Керёши	73
Судьба шутцбундовцев[9]	74
Вся бесовская сила	76
Судьба испанских борцов	77
Штрафной лагерь Коларгон	79
Провокаторы	81
Я познакомился с сестрой Генриха Ягоды	82
После пакта Гитлер-Сталин	84
Лагерный эпизод русско-финской войны	86
Конец ознакомительного фрагмента.	88

Карл Штайнер

7000 дней в ГУЛАГе

© Карл Штайнер, текст
© Виктор Юнак, перевод
© ООО «Издательство АСТ»

Эту книгу я посвящаю моей жене Соне, верно ждавшей меня

Предисловие переводчика и составителя

За рукописью книги Карла Штайнера, которую вы сейчас держите в руках, несколько лет охотились издатели в Европе, уговаривали автора, предлагали хорошие гонорары, но Штайнер стоял на своем: я хочу, чтобы мои мемуары сначала вышли у меня на родине, в Югославии. А на родине, в социалистической (хотя и проводившей независимую от Советского Союза внешнюю политику) Югославии книгу долго не решались напечатать по той причине, что это могло бы вызвать (и в конце концов действительно вызвало) недовольство Москвы. Даже несмотря на то, что Штайнер пользовался дружбой и покровительством Йосипа Броз Тито, с которым его связывали давние, еще с начала 30-х годов, отношения. Поэтому, хотя Карл Штайнер закончил свои мемуары через несколько лет после полной реабилитации в 1957 году (а освобожден из ссылки годом ранее), книга была напечатана только в 1972 году. При этом в своем предисловии сам автор мемуаров признается, что, несмотря на все круги ада, которые он прошел в сталинских лагерях, он был и остается коммунистом: «В тот момент, когда руки НКВД меня уже не могли достать, я начал готовиться к осуществлению этого своего замысла. Я знал, что задача у меня очень трудная, прежде всего потому, что я боялся, как бы моя книга, как и многие другие, не попала в список антисоветской литературы, и как бы все то, что я пережил, многим не показалось невероятным и тенденциозным. Боялся я и того, что недоброжелатели используют мою книгу в качестве оружия против социализма.

Поэтому я попытался доказать, что все то, что произошло в Советском Союзе, является не порождением социализма, а следствием предательства социалистической идеи, контрреволюционного переворота».

Когда же книга наконец увидела свет, а потом и была переведена на немецкий язык, Штайнера стали называть в Хорватии «нашим Солженицыным». Москва же, естественно, выставила президенту Югославии Йосипу Броз Тито ноту за то, что выпустил антисоветскую книгу. Эта книга стала весьма популярной в Югославии (СФРЮ), вышло 24 издания, а в 1972 году загребской газетой «Vjesnik» книга «7000 дней в Сибири» была провозглашена книгой года, а ее автор получил национальную премию Ивана Горана Ковачича за лучшую книгу года.

Появилось много рецензий и отзывов на «7000 дней в Сибири». И в одной из таких рецензий было отмечено, что, если бы эта книга увидела свет раньше, чем «Архипелаг Гулаг» (а написана она была, напомним, действительно раньше), то произведение Александра Солженицына было бы принято в мире гораздо спокойнее. И я, как один из немногих, наверное, людей в России, который читал оба произведения, вполне с этим соглашусь. Поскольку Александр Исаевич описывал многое со слов (или письменных свидетельств) бывших заключенных, а не виденное собственными глазами. Карл Штайнер же описывал все то, что он лично пережил, лично видел – а пережил и видел он за двадцать лет пребывания в ГУЛАГе очень многое и не один раз бывал на грани жизни и смерти. Лубянка, Матросская Тишина, Бутырки, Соловецкий лагерь особого назначения (печально известный СЛОН), Александровский централ; наконец, Штайнер может с полным основанием считать себя первостроителем Норильска. К тому же сам занимавший в Коминтерне не последнюю должность (он был директором издательства и типографии Коминтерна), Штайнер много общался с людьми своего круга (и до ареста, и после). К тому же, живя в Европе, он многие события наблюдал не со стороны, а изнутри. Поэтому в его мемуарах мы встречаем много людей, внесших немалый вклад в историю коммунистического и рабочего движения (к примеру, основатель коммунистической партии Палестины Иосиф Бергер много лет провел в заключении рядом со Штайнером). Если закольцевать его воспоминания, можно образно

сказать так, что начинал Штайнер сидеть с сестрой Генриха Ягоды, а заканчивал с семейством Лаврентия Берии, сосланном в поселок Маклаково Енисейского района Красноярского края (ныне город Лесосибирск) после ликвидации последнего.

Более того, сам Штайнер резко критиковал Солженицына, и принял его «Архипелаг ГУЛАГ» в штыки. По мнению Штайнера, целью Солженицына было показывать идею коммунизма как некое страшилище, он отбрасывал социализм как нечто самое ужасное. «С одной стороны, он хочет рассчитаться со сталинизмом, но делает это таким образом, что ничего о нем не слышавший человек становится приверженцем сталинизма», – говорит Штайнер в интервью хорватскому журналисту-историку Драгославу Симичему. И далее добавляет: «К сожалению, все то, о чем пишет Солженицын, я не могу опровергнуть. Все это было. Но, в отличие от меня, он все это пережил, говоря полиграфическим языком, как *цицero (мелкий типографский шрифт, кегль (размер) которого равен 12 пунктам (4,51 мм).* – В.Ю.). В одном месте он пишет: когда сквозь окна своего барака он видит автобус, направляющийся в Москву, у него на глазах выступают слезы. А я от этого места был на 10 000 километров севернее, где до 1936 года не жил ни один человек. Это была ледяная пустыня, куда даже животные не забредали. Он всего этого не видел. Он находился в учреждении, которое тоже называлось лагерем, но близ Москвы. И уже из-за этого человек, побывавший в тюрьмах, в которых я был, не поверил бы писателю». Полностью с интервью К.Штайнера, которое он дал в 1988 г. хорватскому журналисту Д.Симичу, можно ознакомиться в конце этой книги.

Автор мемуаров довольно подробно описывает в книге свою биографию, поэтому остановлюсь здесь на ней весьма коротко. И сразу хочу уточнить: немец по национальности, родившийся в Австрии, Штайнер с девятнадцати лет, пока его не перевели в Москву на работу в Коминтерн в 1932 году, жил в Хорватии. Поэтому и своей родиной, и родным языком он считал Югославию и сербскохорватский язык, хотя, разумеется, свободно владел немецким и еще французским.

Карл Штайнер родился 15 января 1902 года в Вене. Там же вступил в Союз коммунистической молодежи в 1919 году. В Вене организовал подпольную типографию. По предложению председателя Коммунистического интернационала молодежи Вильгельма Мюнценберга перебрался в Хорватию, для организации подпольной типографии, где печатались коммунистические листовки, книги и брошюры. Был выслежен полицией и арестован. Сбежал во Францию, где провел почти год, но и там был арестован и депортирован, как уроженец Австрии в Вену. Но австрийская полиция его также арестовала и тоже депортировала, поскольку во время проживания в Югославии Штайнер успел получить югославское гражданство. Впрочем, спасая его от югославской полиции, тогда еще просто представитель Коминтерна Георгий Димитров переплавляет Штайнера в Берлин с тем чтобы он и там наладил работу коммунистической типографии. Однако, перед угрозой прихода к власти Гитлера, в 1932 году по заданию югославской компартии Штайнер приехал в Советский Союз для работы в Балканской секции Коминтерна. В Москве, как уже отмечалось, работал директором типографии исполкома Коминтерна.

Арестован 4 ноября 1936 года как немецкий шпион и приговорен к 8 годам тюремного заключения. Сослан на Соловки в 1937 году. В 1939 году соловецким этапом прибыл в Норильлаг. 22 октября 1939 года вместе с Иосифом Бергером и Георгом Билецким дополнительно осужден на 10 лет.

1 июня 1948 года комиссия Норильлага приняла решение о переводе Штайнера в особую тюрьму НКВД СССР. Возможно, был отправлен в Александровский централ. По окончании срока направлен в ссылку на поселение в Красноярский край. В 1953 году работал на строительстве дома инвалидов. В октябре 1954 года переехал в поселок Маклаково Енисейского района.

Когда в 1955 году Никита Хрущев решил помириться с Югославией и он с Тито обменялся визитами, одним из условий примирения президент Югославии обозначил освобождения всех югославских политзаключенных из гулаговских лагерей, при этом Тито вручил Хрущеву список из восьми десятков югославов. Начали срочно выяснять, кто из этого списка еще жив – их осталось всего шестеро, в их числе оказался и Карло Штайнер. Он был освобожден из ссылки 10 апреля 1956 года по Постановлению Президиума Верховного Совета от 23 марта 1955 года. Очень быстро реабилитирован, после чего уехал с женой Соней, которая преданно ждала его все эти почти двадцать лет, в Югославию. Именно жене Соне Карл Штайнер и посвятил свою книгу.

Карл Штайнер написал еще две книги мемуаров: «Povratak iz Gulaga», Naprijed, Zagreb, 1981 («Возвращение из Гулага»), и «Ruka iz groba», Globus, Zagreb, 1985 («Рука из могилы»).

Он умер 1 марта 1992 года в Загребе.

В конце книги в качестве приложения публикуется личное дело Карла Штайнера (а также личное дело его друга Иосифа Бергера) и его второй приговор.

Виктор Юнак, член Союза писателей России, кандидат филологических наук

Предисловие автора

В тюрьмах НКВД, в ледовых пустынях Крайнего Севера, повсюду, где мои страдания превышали человеческую меру и границу терпения, я носил в себе одно-единственное желание – все это перенести и рассказать всему миру и, прежде всего, своим товарищам по партии и друзьям, о том, как мы эти ужасы пережили.

В тот момент, когда руки НКВД меня уже не могли достать, я начал готовиться к осуществлению этого своего замысла. Я знал, что задача у меня очень трудная, прежде всего потому, что я боялся, как бы моя книга, как и многие другие, не попала в список антисоветской литературы, и как бы все то, что я пережил, многим не показалось невероятным и тенденциозным. Боялся я и того, что недоброжелатели используют мою книгу в качестве оружия против социализма.

Поэтому я попытался доказать, что все то, что произошло в Советском Союзе, является не порождением социализма, а следствием предательства социалистической идеи, контрреволюционного переворота.

Основанием для моего доказательства служит уничтожение старой партийной гвардии в период с 1936 по 1939 годы.

Основанием для моего доказательства служит заключенный в 1939 году пакт Сталина с Гитлером, направленный против социализма и демократии.

Основанием для моего доказательства служит и факт выдачи немецких коммунистов в руки гестапо, и факты арестов и убийств иностранных коммунистов в СССР.

Сталин после войны представил еще одно доказательство подобного извращения идеи социализма, когда, прикрываясь Коминформом, напал на Югославию, поставив под угрозу ее свободу и специфическое направление социалистического строительства.

Все то, о чем я рассказал в этой книге, нужно понимать не как суммирование всего, мною пережитого, а как маленькую часть того, что произошло на самом деле. Если бы я вздумал рассказать обо всем, что я вместе с десятками тысяч людей вынес за двадцать лет пребывания в советских тюрьмах и лагерях, мне нужно было бы иметь сверхчеловеческую память.

Имена героев этой книги не вымышлены. Если я и изменил некоторые из них, то сделал это ради того, чтобы не поставить этих людей под угрозу возможных репрессий.

Я редко пускался в анализ и комментарии событий. Я хотел прежде всего описать голые факты. А читатель пусть сам вершит свой суд.

Часть I

Арест, следствие и военный трибунал

Москва, 1936 год

Всё началось 4 ноября 1936 года в Москве на улице Новослободской, 67/69, в квартире № 44. Была ночь. Я спал глубоким сном, пока меня не разбудил неожиданный звонок в дверь. Я почувствовал на плече руку жены.

– Карло, Карло, – глухо произнесла она.

Я потянулся в постели. Кто-то продолжал настойчиво звонить. Кого это принесло в такое время? Я глянул на часы: два часа сорок пять минут. Звонок повторился, но теперь уже более настойчивый. И вдруг меня обуял страх перед чем-то неизвестным. Я неспешно поднялся. Звонить не переставали.

– Кто там? – робко спросил я.

– Товарищ Штайнер, откройте! Это я, управдом.

Приоткрыв дверь, я и в самом деле увидел лицо управдома.

– В вашей кухне, кажется, протекает кран. Вода капает на нижний этаж. Я должен проверить, – сказал он быстро и как-то смущенно.

– У нас все в порядке, – ответил я.

– И все-таки откройте, я хочу убедиться лично, – настаивал управдом.

Едва я открыл дверь, как тут же заметил офицера и двух солдат. Один солдат остался снаружи, а другой вместе с офицером, и управдомом вошел в квартиру. Офицер расстегнул шинель и я увидел знаки различия старшего лейтенанта НКВД. Первой его фразой было:

– Оружие есть?

– Нет, – ответил я, на удивление совершенно спокойно.

Страх перед чем-то неизвестным у меня исчез. Опасность была рядом и теперь уже более чем явственной.

Офицер заученными до автоматизма движениями обыскал меня. Это был светловолосый и стройный мужчина лет тридцати. Его крестьянское лицо не выражало никаких чувств. Протянув мне лист бумаги, он грубо произнес:

– Ордер на арест!

Он стал рассматривать меня, как охотник осматривает пойманную добычу, разве что с меньшим интересом. «Очевидно, он так привык», – подумал я.

Я вернул ему документ. Приказав мне сесть, он направился в другую комнату.

– Кто это? – спросил он, указав рукой на лежавшую в постели жену.

– Моя жена.

– Встаньте! – приказал офицер.

– Извините, моя жена на последнем месяце беременности, – обратился я к офицеру. – Прошу вас, будьте так любезны и разрешите ей остаться в постели. Ей нельзя волноваться.

– Встаньте! – повторил офицер.

Соня поднялась, я бросился ей помогать.

– Сядьте и не двигайтесь! – заорал офицер.

Но я сделал вид, будто не расслышал этого, подошел к кровати и помог жене одеться. Одновременно сюда подошел и офицер, принявшись обыскивать каждую подушку, простыню, одеяло. Все это он сбросил на пол, а мне и жене снова приказал не двигаться. Он

перевернул всю комнату. Пока офицер производил обыск, солдат внимательно нас разглядывал.

Я пытался успокоить испуганную и разволновавшуюся жену, но офицер приказал мне замолчать. Обыск продолжался два часа. Офицер внимательно осматривал каждую вещь, книги на иностранных языках откладывал в сторону. Закончив, он приказал мне одеваться. Жена заплакала, я пытался ее успокоить.

– Что ты возьмешь с собой? – спросила она.

– Ничего. Зачем мне брать что-либо? Это явное недоразумение, я скоро вернусь домой, – успокаивал я ее.

– Вперед! – приказал офицер и направился к двери.

Я последовал за ним. Солдат остался сзади. Я даже не успел попрощаться с женой. Было слышно только, как она плачет.

На лестничной площадке к нам присоединился второй солдат. У подъезда стоял автомобиль. Меня втолкнули внутрь. Слева и справа от меня сели солдаты, офицер расположился рядом с водителем.

– Поехали! – скомандовал старший лейтенант.

Машина мчалась по улицам спящей Москвы. Я пытался понять, что произошло, но в моих ушах все еще звучал плач жены. Мне казалось, что я прощаюсь с жизнью.

Лубянка – главный штаб НКВД

Через десять минут автомобиль остановился у главного здания НКВД на Лубянке. Открылись массивные ворота, и машина въехала во двор. Из машины выскочил солдат и приказал мне выходить. Я огляделся. Мы находились в узком дворе, со всех сторон окруженном шестиэтажными зданиями с зарешеченными окнами. Меня подтолкнули к открытой двери, и я оказался в помещении площадью примерно пятьдесят квадратных метров. Вдоль стен стояли ряды стульев, на которых сидело около тридцати мужчин и женщин, рядом с которыми лежали узлы с вещами. Некоторые из них смотрели сквозь стены ничего не видящими глазами, другие, наоборот, глаза закрыли.

В комнате стояла тишина, прерываемая лишь всхлипываниями какой-то девушки. Я снова подумал о жене. Через каждые двадцать минут двери открывались и часовой вызывал нас по имени. Спустя два часа подошла и моя очередь. Меня отвели в соседнюю комнату. Там со всех сторон стояли полки, на которых были разложены узлы, чемоданы, корзины, пакеты. За пультом стояло несколько мужчин в форме НКВД и женщин в белых халатах.

Я подошел к пульту. Один из младших командиров взял лист бумаги и спросил, как меня зовут. Я ответил.

– Есть ли у вас деньги, какие-нибудь ценные вещи?

Я достал бумажник и часы, пересчитал деньги и все это вручил ему. Через несколько минут он выдал мне две расписки. Затем мне приказали раздеться догола. После обыска одежду мне вернули. Конвойный провел меня по нескольким переходам и лестничным клеткам в коридор с целым рядом дверей. Надзиратель, державший в руке целую связку ключей, открыл одну дверь и втолкнул меня внутрь. Я оказался в душевой и грязной камере, шириной в три и длиной в пять-шесть метров. На полу лежало до тридцати человек. Одни завернулись в свои пальто, другие набросили их на себя так, что не было видно лиц. Поднялось несколько голов, посмотрев на меня усталыми глазами. Мужчина с длинной светлой бородой немного потеснился и предложил мне лечь рядом с ним. Я осторожно, стараясь ни на кого не наступить, пробирался к нему. Добраться до него мне удалось с трудом.

– Сразу видно, что вы иностранец, – сказал светлородый. – Наши гораздо более решительны.

Я ничего не ответил. Заметив мое возбуждение, он добавил:

– Отдыхайте. Утром поговорим.

Он спросил меня, который час. Я пожал плечами. Он замолчал и закрыл глаза. Я осмотрелся: одни спали, другие наблюдали за мной из-под полуоткрытых век.

Я лежал на голом полу в одежде и пальто. Меня знобило и трясло от дрожи, хотя в камере было душно и жарко. Я пытался думать. Что со мной происходит? Чего от меня хотят? Как долго я пробуду здесь? Что будет с моей женой, ведь она в таком положении? Неужели на меня кто-то донес? Мысли, не имея точки опоры, носились в голове вихрем. Я закрыл глаза, попробовал задремать, заснуть. Тщетно. Снова те же вопросы, на которые я не находил ответа. Несколько часов, остававшиеся до рассвета, показались мне бесконечной вечностью.

Вдруг наполовину приоткрылась дверь и надзиратель крикнул:

– На оправку!

Вместе со всеми я прошел по коридору в уборную, имевшую несколько перегородок. Там одни сразу уселись на корточки, другие стали умываться в жестяном умывальнике. Я облил лицо ледяной водой, и мне сразу полегчало. Через несколько минут надзиратель погнал нас назад в камеру. Меня сразу окружили сокамерники. Начались расспросы. Я отвечал неохотно, несколькими словами. Поняв, что мне не до разговоров, некоторые стали меня утешать:

– Не вы один такой. Тюремны переполнены. Мы тоже не знаем, за что сидим. Потерпите, придет и ваш черед...

Снова открылась дверь, и разносчик внес на доске тридцать четыре полукилограммовые пайки черного хлеба и два ведра кипятка. Заключение налили кипятка в свои алюминиевые кружки. У меня кружки не было, но мне и не хотелось ни есть, ни пить. Каждый разрезал свой хлеб на две-три части ниткой, поскольку ножей не было. Я обратил внимание, с какой жадностью все поедают свой хлеб и запивают его кипятком, а крошки, упавшие на пол, старательно подбирают и следят за тем, чтобы ни одна не выпала у них изо рта. Ели в полной тишине, словно исполняя некий обряд. Оставшийся хлеб бережно заворачивали в тряпочку или мешочек. Это были пайки на обед и ужин.

Мой бородатый сосед спросил, почему я не ем.

– Нет аппетита, – ответил я.

Мой хлеб лежал нетронутый, снedaемый голодными глазами. Я предложил его своему соседу, но тот посоветовал мне спрятать его, поскольку в тюрьме было очень голодно. Мне с трудом удалось уговорить его взять хотя бы половину. Он поблагодарил меня и тут же съел свою часть. Бородач рассказал мне, что его привезли сюда из Владивостока и что он в этом собачнике уже четвертый месяц ожидает вызова к следователю. Арестовали его девять месяцев назад. После революции, с 1917-го по 1920-й, он руководил на Дальнем Востоке борьбой партизан с японцами. После этого работал в Управлении промышленности рыбных консервов. А сейчас его обвиняют в том, что он готовил вооруженное восстание против советской власти с целью присоединения к Японии советского Дальнего Востока.

Услышав, какие страшные дела замышлял этот человек, я испугался, что мне придется рядом с ним лежать и разговаривать. Я спросил его, как же могло случиться, что бывший революционер дошел до такого. Он громко рассмеялся, сказав, что такое ему даже во сне не могло присниться и что все эти обвинения являются выдумкой НКВД. Его большая светлая борода и широкие плечи тряслись от смеха. Мне казалось, что это сама дикая дальневосточная природа смеется над моим вопросом. Я смотрел на него удивленно.

Бородач спросил, в чем меня обвиняют. Я ответил, что я ничего не знаю и что я еще никого не видел, кроме людей, арестовавших меня. К нам подошло еще несколько человек, спросили, кто я такой и откуда. Я ответил, что я политэмигрант и нахожусь в Советском Союзе с 1932 года. Мои ответы были скудными и бессвязными. Меня продолжал мучить один-единственный вопрос: почему я здесь? Возможно, все это кошмарный сон. Голосов я почти не слышал.

В полдень мы получили пол-литра овощной баланды и чайную ложечку горошка. Баланду я есть не мог. Около шести часов вечера нам снова принесли по ложке горошка. В десять часов трижды вспыхивал и гас свет. Это было сигналом для отхода ко сну. Заключение постелили пальто на пол и легли. Лег и я. Слишком устав за день, я быстро заснул.

Но долго спать не пришлось. Открылась дверь, и я услышал, как одного заключенного позвали на допрос. Второй раз я засыпал долго. Потом меня снова разбудили.

– Идемте на допрос! – обратился ко мне часовой, стоя у двери.

Я поднялся, обул ботинки и вышел в коридор, где меня ждала молодая светловолосая женщина в форме НКВД, в пилотке с кокардой. В руке у нее была записка.

– Ваша фамилия? – спросила она.

Я ответил.

– Вперед!

Несколько раз на нашем пути открывались железные решетки. Сначала мы поднялись на третий этаж, затем спустились во двор, наконец вошли в большое здание и на лифте поднялись на шестой этаж. Конвойная привела меня в большую комнату, где за письменным столом сидел седоватый мужчина лет сорока, среднего роста, с подстриженными усами,

в форме капитана НКВД. Мой конвойная протянула мне записку. Я расписался на ней, не отходя от двери. Конвойная вышла. Капитан мельком взглянул на меня, указал рукой на стул и произнес:

– Садитесь. Моя фамилия Ревзин, я ваш следователь. Как вы хотите, чтобы мы разговаривали – по-немецки или по-русски?

– Мне все равно, – ответил я.

Он протянул мне лист бумаги:

– Прочитайте это и подпишите.

Я взял бумагу. Это оказался обвинительный акт следующего содержания:

«1. Карл Штайнер обвиняется в том, что он является членом контрреволюционной организации, убившей Секретаря Центрального Комитета ВКП(б) и Секретаря Ленинградского обкома партии С.М. Кирова;

2. Он обвиняется в том, что является агентом гестапо».

Дочитав до конца, я рассмеялся.

– Не смейтесь! Это серьезное обвинение, – сказал Ревзин.

Я чувствовал себя хорошо, настроение поднялось.

– Дело абсолютно ясное – речь идет об ошибке. К этому я не имею никакого отношения, – я говорил спокойно и уверенно.

– Вы заблуждаетесь! Ни о какой ошибке речи быть не может. У нас есть доказательства, и вам лучше во всем искренне сознаться.

– Что вы говорите, боже милостивый! Я ни в чем не виновен, я всегда был хорошим коммунистом и свои партийные обязанности выполнил беспрекословно, – я говорил решительно, желая убедить его в том, что все это недоразумение.

– Сегодня мы больше не будем говорить на эту тему. Возвращайте в камеру и обо всем подумайте. Завтра продолжим, – поднялся Ревзин.

В тот же момент появилась моя конвойная и отвела меня назад в камеру. Как только дверь камеры закрылась, сокамерники окружили меня, спрашивая, где я был. Я рассказал им, в чем меня обвинил Ревзин.

– Невероятно! Все это вымышлено! – произнес я на повышенных тонах.

– Вы иностранец, значит, шпион, – слышались голоса.

– Но я к этому не имею никакого отношения.

– Неужели вы думаете, что мы имеем отношение ко всему тому, в чем нас обвиняют? Черта лысого! Нам такое никогда даже и не снилось, – раздались нервные и злые голоса.

Надзиратель несколько раз ударил ключами по двери, а это означало, что нужно прекращать разговоры. Каждый лег на своем месте. Я не мог заснуть, постоянно думал о предъявленном обвинении. Как вообще возможно такое, чтобы я впутался в подобную аферу? Что все это значит? Я утешал себя тем, что все разъяснится, что все увидят эту очевидную ошибку и вскоре меня отпустят домой.

Начался новый день. Снова принесли хлеб. На обед опять была баланда и горошек, на ужин – каша. Весь день мы говорили о моем ночном допросе, некоторые рассказывали о своих делах и фантастических обвинениях. Половина же сидевших вообще не знала, за что их арестовали.

Молодого крестьянского парня обвинили в терроризме за то, что во время ссоры с председателем колхоза он пригрозил, что убьет его. А другого моего сокамерника обвинили в ведении контрреволюционных разговоров. Против него свидетельствовал родной брат, заявивший на очной ставке, что по-другому он не может поступить, поскольку НКВД добивается от него только правды. Позже я узнал, что этого человека, по фамилии Смирнов, «тройка» приговорила к восьми годам лагерей. «Тройкой» называлась специальная комиссия НКВД, выносившая административным путем приговоры тем, кого не выводили на суд.

Шли дни. На допрос меня никто не вызывал. Меня перевели в другую комнату на шестом этаже, отличавшуюся от собачника тем, что здесь были железные койки, соломенные тюфяки, подушка и постельное белье. Это была одиночка, но в ней разместили три койки, а пол покрасили так, что он казался до неприличия чистым. Четыре дня я был один, на пятый день привели еще двоих. Наконец, на четырнадцатый день меня вызвали на второй допрос. Следователь Ревзин извинился за то, что раньше не мог меня вызвать, у него было много работы, но он обязательно допросит меня завтра. Это было все, что мне сказал. Не задал мне ни единого вопроса. Я вспомнил, о чем мне рассказывали заключенные в собачнике. Это привычный прием НКВД: тебя вызовут и пообещают завтра допросить, но, разумеется, этого не сделают, а заставят тебя ждать. Так и держат в напряжении и ожидании.

Я познакомился со всеми новыми товарищами по камере. Ларионов, высокий, крупный мужчина, руководил химическим заводом в Кемерове. Старый член партии. Его обвинили во вредительстве на предприятии, которым он руководил. Он клялся мне, что это все выдуманно и никакой протокол он не подпишет. Однажды ночью Ларионова увели, и вернулся он лишь через пять дней. Пять дней и пять ночей он стоял в углу, лишь раз в день получая немного баланды и хлеба. Этот сильный человек, во время Гражданской войны воевавший в Красной армии и прошедший сквозь все военные невзгоды и тяготы, не выдержал этой пытки и подписал все, что от него требовали. Через три недели его увели из камеры, и больше я его никогда не видел.

Людей обычно допрашивали ночью. Ночью же увели и Гольдмана. Вернулся он в камеру в четыре часа утра со сломанными ребрами. Гольдман был личным секретарем Рыкова, когда тот занимал пост Председателя Совета народных комиссаров. От него добились признания в том, что его начальник Рыков завербовал его в агенты гестапо. Он ни в чем не признался и ничего не подписал. Он лежал и стонал с субботы до понедельника. Только в понедельник утром пришел врач и спросил, на что он жалуется.

– Эти собаки... проклятые собаки... – простонал Гольдман.

Через два часа пришли охранники с носилками и унесли его. Я снова остался в тесном помещении наедине со своими мыслями и вопросами: как? почему? сколько это будет продолжаться? что делает Соня? знает ли она, в чем меня обвиняют? Вихрем крутились в голове всегда одни и те же мысли.

В следующие дни в мою камеру поместили троих заключенных. Один из них был моим старым знакомым по собачнику, двух других только недавно арестовали. Немец по национальности, Шаб жил в Москве, пятьдесят лет проработал в одном и том же охотничьем магазине на Кузнецком Мосту. Сейчас ему было шестьдесят пять. Через два дня после ареста он узнал, что является «агентом гестапо». Несчастный, отчаявшийся старик вообще не мог понять обвинения, не мог сосредоточить свои мысли. Он уверял меня, что абсолютно ни в чем не виновен, просил посоветовать, что ему нужно сделать, чтобы опровергнуть это чудовищное обвинение. Что я мог сделать, что посоветовать, если мне и самому нужен был совет?

Старика Шаба однажды допрашивали сорок восемь часов подряд. Следователь, молодой, гладко выбритый и амбициозный шустрик, ругал старика самыми последними словами:

– Ты старая курва, старая бестия, гад ползучий! Знаем мы вас, которые по пятьдесят лет служат капиталистам! Мы покажем тебе, что такое НКВД. Если ты в течение двадцати четырех часов не подпишешь протокол, мы из тебя сосиски сделаем, старая собака, подлец швабский...

Рассказывая мне об этом, старик Шаб плакал. Однажды ночью он разбудил меня и попросил, если меня освободят раньше него, навестить его жену и сказать ей, что он ни в чем не виноват. Жена его живет в Москве на улице Баумана. Старик решил объявить голодовку. Он лежал в камере пять дней почти без сознания. На шестой день его вынесли. Спустя много

лет я встретил в Норильске заключенного Нехамкина, который вместе с Шабом лежал в тюремной больнице. Нехамкин рассказал мне, что старик Шаб умер, не приходя в сознание. К сожалению, исполнить последнюю просьбу товарища Шаба я не смог.

Если со стариком Шабом я довольно быстро установил тесный контакт, то со вторым заключенным этого сделать мне не удавалось. Он не желал разговаривать.

– С контрреволюционными элементами я не хочу иметь никаких дел, – таким был его ответ на все попытки заговорить с ним.

Это был мужчина лет шестидесяти. Фамилия его была Вишняков. Он работал ректором Промакадемии в Москве. Однажды я рассказал ему о себе, что я коммунист, являюсь членом партии с 1919 года, что я за коммунистическую деятельность сидел в разных тюрьмах Европы и что я теперь вот обвинен в шпионаже, терроризме и диверсии.

– НКВД не арестовывает невинных людей, – ответил мне старик Вишняков.

– Ну хорошо, а за что вас арестовали? – спросил я.

– Это ошибка, недоразумение, – ответил он коротко и повернулся ко мне спиной.

Однажды нас посетил тюремный администратор в белом халате.

– У кого есть деньги, тот может купить в тюремном ларьке хлеб, сахар, мармелад, селедку и папиросы.

Он дал нам три листа бумаги, на которых нужно было написать, что мы хотим купить. Я заказал три пачки папирос, хоть и был некурящим, и кусок мыла. На следующий день нам принесли все, что мы заказывали. Папиросы и кусок мыла я предложил Вишнякову. У старика не было денег, а он был страстным курильщиком.

– Как у вас язык повернулся мне что-то предлагать! Враг народа, а пытается меня подкупить! – разозлился он на меня.

Я промолчал, оставив папиросы и мыло на столе.

Ночью меня разбудил скрежет открываемого замка. Подняв голову, я увидел в открывшейся кормушке голову дежурившего в коридоре энкавэдэшника. Тот пальцем поманил меня к себе.

– Тут есть на «в»? – шепотом спросил он.

Так они поступали всегда, когда не были уверены, что попали в нужную камеру. Они не хотели, чтобы в соседней камере знали, кто находится рядом. Я разбудил Вишнякова.

– Одевайтесь! Без вещей! – приказал конвоир.

В восемь часов утра Вишняков вернулся с допроса.

– Ох, ох, что происходит. Мне сказали, что я бандит, вредитель, враг народа, троцкист, что меня раскрошат, сотрут в порошок, если я не признаюсь. Боже, как это возможно... – стонал старик Вишняков, нарезая круги по камере и держась за голову.

– Возьмите папиросу, это вас успокоит, – я протянул ему пачку.

Старик закурил и заплакал. Затем подошел к двери и стал по ней стучать. Пришел надзиратель.

– Дайте мне бумагу и чернила, я должен написать товарищу Сталину. Пусть он узнает, что здесь творится.

– Бумагу требуйте у следователя, у меня нет никакой бумаги, – проворчал надзиратель и ушел.

Обессиленный Вишняков сел на кровать, снова закурил и посмотрел вокруг себя отсутствующим взглядом. Когда пришло время идти на прогулку, старик даже не пошевелился. Ежедневно мы гуляли 15–20 минут в тесном дворике или по ровной крыше тюрьмы. Гулять следовало по кругу, шагая один за другим, держа руки за спиной и глядя в землю. Голову нельзя было поворачивать ни направо, ни налево. Разговаривать запрещалось. Наказывали за каждую мелочь. Обычно нарушителя на пять дней лишали прогулки или запрещали покупать что-либо в тюремном ларьке. Особенно следили за тем, чтобы кто-либо не спрятал

кусочек бумажки, которую каждый получал утром и вечером перед тем, как идти в уборную. Конвоир наблюдал в глазок, использовал заключенный бумагу или нет.

После долгой паузы меня снова вызвали на допрос. Теперь меня почти каждую ночь уводили из камеры около 23-х часов и допрашивали по два-три часа. Однако на этом допрос не заканчивался – меня держали на ногах еще по сорок восемь часов. В первые дни допросы вел Ревзин, он был вежливым и корректным. Уговаривал во всем признаться, обещал, что меня тут же снова примут в партию. А может, и наградят орденом. Я спросил следователя, в чем конкретно они меня обвиняют:

– Нам известно, что вы – агент гестапо, а кроме того, являетесь членом контрреволюционной организации, убившей Кирова, – ответил Ревзин.

– Это все выдумки. У НКВД нет доказательств моей вины, поскольку я никогда в своей жизни не имел дела ни с такими людьми, ни с такими организациями.

– Вас никогда бы не арестовали, если бы у НКВД не было доказательств вашей вины. Доказательства предъявлены, прежде всего, Исполкому Коминтерна, поскольку вы являетесь его сотрудником, и Исполком одобрил арест. Затем обвинительный материал был доставлен генеральному прокурору Советского Союза Вышинскому, который и подписал ордер на ваш арест, – хладнокровно, растягивая слова, говорил Ревзин.

Я потребовал, чтобы мне предъявили этот ордер. Ревзин вытащил из ящика стола и протянул мне лист бумаги. На нем было написано: «Арест одобряю. Вышинский».

– Я ничего не понимаю. Я могу вам только повторить: я не имею никакой связи с этими делами, и НКВД придет к такому же выводу, – ответил я следователю.

В одну из суббот меня снова вызвали на допрос. Нужно сказать, что в субботу и воскресенье допрашивали редко, поэтому я удивился вызову. Ревзин снова встретил меня своей деланой любезностью:

– Видите, Штайнер, из-за вас я отказался от своего воскресного отдыха. Мне хотелось бы закончить ваше дело как можно скорее. Но все зависит только от вас.

– Что касается меня, то я готов сделать все от меня зависящее, чтобы вы поскорее отпустили меня домой, – ответил я.

– Хорошо, в таком случае мы можем говорить серьезно, – решительно произнес следователь и вынул какие-то бланки, на которых было напечатано: «Протокол допроса».

Задав несколько стереотипных вопросов (имя, фамилия, год и место рождения), он спросил:

– Признаете ли вы, что являетесь членом контрреволюционной организации, убившей секретаря Центрального Комитета ВКП (б) и Ленинградского обкома партии Кирова?

– Я могу вам сказать только то, что уже повторял несколько раз, а именно: я к этому не имею никакого отношения и я абсолютно не виновен.

Ревзин отложил ручку.

– Таким образом у нас ничего не получится. Вы должны во всем сознаться.

– Мне не в чем сознаваться, я не виновен.

Так продолжалось всю ночь. Ревзин уговаривал меня быть благоразумным и во всем сознаться, а я, не знаю уж в который раз, уверял его, что я абсолютно не виновен. Взглянув на часы, Ревзин нажал на кнопку. Когда вошел конвоир, он произнес:

– Идите в камеру и хорошо подумайте, я завтра вас опять вызову. Но одно я могу вам сказать уже сегодня: если вы и дальше будете продолжать в том же духе, если и дальше будете твердолобо отпираться, это для вас кончится плохо. Понимаете, плохо!

Я ничего не ответил.

В понедельник меня вызвали снова. В комнате вместе с Ревзиным сидел еще один следователь.

– Вот этот тип, который думает, что может водить нас за нос. У меня уже не хватает терпения возиться с ним. Попробуй-ка ты. А если он и дальше будет таким же твердолобым, то просто поставь его к стенке.

Представив меня таким образом новому следователю, Ревзин вышел.

– Садитесь, – предложил новый следователь.

Вынул из кармана пачку папирос и протянул мне.

– Спасибо, не курю.

Новый следователь закурил и стал рыться в каких-то бумагах. Я получил возможность рассмотреть его. Был он лет сорока, высокий, с черными, зачесанными назад волосами, гладко выбритый и красивый. На нем была не гимнастерка, а партийная рубашка. Выкурив папиросу, он спросил:

– Хотите есть?

– Нет.

– Тогда попозже выпьем чаю.

Я молчал. Он заговорил со мной в дружеском тоне. Поинтересовался, кто я и как оказался в Советском Союзе. Я рассказывал ему о себе, о том, что по национальности я австриец, что я вынужден был эмигрировать из Югославии из-за преследования полиции, что я некоторое время жил во Франции, которую также вынужден был покинуть из-за коммунистической деятельности. Он слушал меня очень внимательно. Позвонил, вошла девушка.

– Принесите две чашки чая и дважды по сто граммов колбасы, – попросил он.

Через несколько минут девушка принесла чай и колбасу.

– Ешьте, ешьте, вы, конечно, голодны, – предложил он.

Мы пили и ели. После еды он закурил. Стряхивая пепел, произнес:

– Вы же умный человек. Послушайте, что я вам посоветую. Признайтесь мне во всем и скажите, кто вас завербовал, какие задания вы получили, кого вы завербовали, какие задания вы дали этим людям?

– Я абсолютно невиновен. Ни меня никто не завербовал, ни я никого не вербовал.

После этих моих слов следователь вскочил и закричал:

– Знаете ли вы Эймике?

– Да.

– Расскажите мне, где вы с ним познакомились.

– Я сидел с одним знакомым в ресторане «Метрополь», – начал я вспоминать обстоятельства знакомства с Эймике. – Это было в 1934 году. К нашему столу подошел человек и поздоровался с моим знакомым. Потом познакомился с ним и я, и он присел с нами. Из разговора за столом я узнал, что Эймике является владельцем берлинского зоопарка и постоянно посылает в Советский Союз животных из тропических стран, а взамен получает животных, живущих на Крайнем Севере. Впоследствии я дважды встречал его на улице, мы здоровались, но ни о чем не говорили. Это все.

– Лжете! Я вам докажу, что вы несколько раз оказывались с Эймике в одном гостиничном номере, где он вам и давал шпионские задания.

– Теперь мне ясно, что все выдуманно. Мне известно, что за всеми гостями гостиницы «Метрополь» наблюдает НКВД, поэтому НКВД наверняка известно, что я никогда не был с Эймике в одном гостиничном номере.

Следователь был взбешен. Он вскочил, ударил ладонью по столу, перевернул чернильницу и разбил чашку от чая.

– Наконец, я понял, с кем имею дело! Вы опасный человек. Как вы думаете, где вы находитесь? Вы думаете, что вы находитесь в австрийской полиции? В НКВД вас быстро научат уму-разуму, – орал он.

– Я прошу вас приказать отправить меня в камеру. Я не допущу, чтобы меня мучили и третировали, как собаку, – поднялся я со своего места.

Следователь пришел в еще большую ярость.

– Сядьте на свое место и не смейте вставать без моего разрешения. И вообще, что я с вами разговариваю. Встаньте лицом к стене!

Я встал и повернулся лицом к стене. Так я простоял два часа. Затем он приказал мне сесть, а сам взял бумагу и начал писать протокол допроса. В протоколе было записано все, что я говорил, те же вопросы, те же ответы, с той лишь разницей, что следователь попытался неточно интерпретировать мои ответы. После долгих споров он все же согласился написать так, как я требовал.

Последующие две недели почти каждый день меня вызывали на допросы, но по сути своей ничего не изменилось: те же вопросы, те же ответы. Мне показалось, что мой следователь Грушевский не такой уж плохой человек, и поэтому на одном из допросов я спросил у него, что с моей женой.

– Мы следим за каждым шагом вашей жены, и могу вас уверить, что она очень хорошо себя чувствует. Сразу же после вашего ареста она нашла себе другого и спит с ним, – цинично ответил он.

Я был вне себя, услышав такое. Я был взбешен настолько, что забыл, где нахожусь. Я кричал на него и ругался.

– Какое вы имеете право так говорить о моей жене! Это фашистские методы! Сегодня я больше не произнесу ни единого слова.

Я так громко кричал, что из соседней комнаты пришел офицер посмотреть, что случилось. Успокоившись, я сказал следователю:

– Моя жена должна вот-вот родить, может быть, она уже в роддоме. Я считал, что имею дело с человеком. Но я был глуп, думая о том, что вы хотя бы на мгновение забудете о том, что я арестант, и по-человечески ответите на мой вопрос. Сейчас я вижу, что ошибся.

Грушевский вел себя так, словно ничего не произошло. Он пообещал поинтересоваться, что с моей женой, и завтра же мне об этом сообщить. Я вернулся в камеру.

Когда дверь камеры закрылась, я заплакал, как ребенок. Это был судорожный плач, первый в моей жизни. Мои сокамерники, услышав рассказ о происшедшем, ничуть не удивились. Они очень хорошо знали методы НКВД, не гнушавшегося никакими средствами, чтобы деморализовать подсудимых.

Спустя восемь дней меня вызвали в тюремную канцелярию и сообщили, что моя жена родила дочь и они обе хорошо себя чувствуют. Я был счастлив, потому что таким образом узнал, что моя жена не арестована. В большинстве случаев в НКВД обычно попадали и жены арестованных мужей, невзирая на то, беременны они, больны ли, или имеют грудных детей. В Бутырской тюрьме было три сотни женщин с грудными детьми и детьми до одного года. Как только детям исполнялся год, НКВД насильно отбирал детей у матерей и помещал их в детский приемник, находившийся в ведении НКВД. Сцены, разыгрывавшиеся в момент, когда у матерей отбирали детей, были ужасными!

Бутырская крепость

В середине декабря 1936 года в мою камеру пришел надзиратель и приказал мне собрать все свои вещи. «Что бы это значило?» – спрашивал я сам себя, нервно собирая вещи. Сердце учащенно забилося. Неужели меня освободят? Наспех попрощался с товарищами по камере. Меня привели в пустую комнату этажом ниже и тщательно осмотрели все мое тело. Когда с этой процедурой покончили, мне приказали одеться. Отвели меня в тот самый двор, где я уже был в самом начале. Там стоял небольшой грузовичок-фургон, на котором на четырех языках было написано: «BROT-XLEB-PAIN-BREAD». Милиционер открыл дверцу и приказал мне войти. Машина напоминала тюрьму. Внутри она была разделена перегородками на ячейки, в одной из которых я и разместился. Нельзя было даже пошевелиться, воздуха не хватало. Я почувствовал, что другие ячейки тоже заняты. Я хотел было обратить внимание на себя соседей кашлем, но охрана, сидевшая с нами, запретила нам издавать какие бы то ни было звуки.

Машина мчалась по Москве, а москвичи даже не подозревали, что этот четырехязычный хлебный фургон везет жертв НКВД. Минут через двадцать мы остановились у крупнейшей московской тюрьмы НКВД – Бутырской. Открылись двойные решетчатые двери, нас выгрузили. Солдаты ругали и толкали нас по любому поводу. Всё должно делаться быстро.

– Быстрей, быстрей, руки за спину! – кричали конвоиры.

Открылись большие массивные ворота, затем еще одни, железные, и мы оказались в большом вестибюле, какие бывают в железнодорожных вокзалах. Справа и слева были двери без ручек. Одна из них открылась, и меня толкнули внутрь. Камера, в которой я оказался, напоминала бетонную коробку. Лишь одна лавка была привинчена к стене. Одиноко и пусто. Окна нет. Я сел на лавку и слушал, как открывается одна дверь, вторая, третья и как в камеры входят арестованные. Некоторые из них что-то пытались спросить у конвойного, однако ответ всегда был одним и тем же:

– Молчать! Не разговаривать!

Прошло довольно много времени, прежде чем меня отвели в душевую, напаренную душевую, где мне выдали кусочек мыла. Я вымылся. Через двадцать минут конвоир постучал в дверь и крикнул:

– Одевайся!

Я оделся и ждал. В этой проклятой душевой было так жарко, что даже дышать было невозможно. Я прождал целый час. Наконец пришел конвоир и повел меня через двор в пятиэтажное здание. На втором этаже мы остановились перед камерой № 61. Конвоир приказал мне раздеться догола.

– Послушайте, разве вы не видите, что я мокрый? Как же я разденусь на таком холоде? – сказал я ему.

– Раздевайся и не гавкай, – заорал он и стал срывать с меня одежду.

Тщательно обыскал и одежду, и белье. Все это продолжалось двадцать пять минут. Я стоял в коридоре совершенно голый. Каменный пол был очень холодным. Я был уверен, что при температуре минус 25 градусов (а был декабрь) обязательно заболею воспалением легких, но, к счастью, отделался всего лишь насморком. Конвоир открыл камеру и толкнул меня внутрь.

Я не верил своим глазам. Неужто заботами дьявола я попал в самое пекло? Камера длиной около восьми метров и шириной около пяти была набита полуголыми людьми. Одни сидели в калсонах, другие лежали на нарах, привинченных к стене, третьи, которым не удалось захватить место на нарах, сидели на корточках на голом полу. Невозможно было

сделать даже шага в сторону от двери. Сотни глаз уставились на меня. Я стоял, словно прикованный. Молча! Тут из толпы ко мне попытался пробиться один человек. Ему это удалось.

– Вам придется временно разместиться здесь, – сказал он и указал на место возле параша.

– Завтра или послезавтра я найду вам место получше, – успокоил меня староста камеры.

Я осмотрелся, подыскивая место, где бы можно было сесть. С обеих сторон стояли две огромные параша, прикрытые ржавыми крышками. В уборную можно было ходить только два раза в день в сопровождении конвойных. А ночью и днем, когда дверь была закрыта, пользовались парашей.

Я присел на корточки у параша.

Вскоре заключенные окружили меня и стали задавать вопросы: когда я арестован, за что, откуда я и т. д. Когда узнали, что я иностранец, то сказали, что среди них тоже есть иностранцы. Очень скоро я познакомился с некоторыми из них.

Дырища, в которую нас сунули, имела около сорока пяти квадратных метров, и была рассчитана на 24 заключенных. Сейчас же нас в ней было две сотни, а в иные дни в нее запикивали и 260 человек. Стояла вонища. Ужас! Камера никогда не проветривалась, жара была невыносимой, дышалось с трудом. Люди теряли сознание.

Жизнь в камере начиналась около пяти часов утра. Открывались двери, у которых уже толпились самые нетерпеливые и, переминаясь с ноги на ногу, ждали, когда их пустят в уборную. Параша за ночь заполнялась доверху. Ее могли унести только четыре человека. Они же одновременно должны были следить за порядком и чистотой в камере. Каждый день четверка дежурных менялась. В уборную ходили тремя группами. Там же был и умывальник, вокруг которого мы всегда толпились.

В восемь утра приносили хлеб. Каждый на день получал по 400 граммов. Хлеб принимал староста камеры. Кроме хлеба, на завтрак мы получали либо кипяток, либо какие-то кофейные помои. На обед нам давали пол-литра овощной похлебки и 150 г просяной каши, а если не было проса, то кашу варили из чего-то еще более противного. Вечером мы снова получали пол-литра баланды. Еды давали слишком мало для нормального человека, к тому же она была невкусной. Поначалу мне было противно есть. Заключенные, у которых были деньги, могли в тюремном ларьке каждые 10–12 дней покупать хлеб, селедку, маргарин, а иногда масло, сахар и папиросы.

В сталинских тюрьмах существовал хорошо законспирированный определенный вид солидарности. В большинстве камер организовывали так называемые «комбеды», заботившиеся о том, чтобы те, у которых не было денег, получали кое-что из продуктов и папиросы. Каждые десять дней заключенный мог получать по 50 рублей, которые ему передавали родные. Во время покупок 10 % отдавалось тем, у кого не было никаких средств.

В тюремный ларек ходил староста камеры и еще 5–6 человек с мешками и простынями. Прежде всего, составляли список заказчиков. Ларек находился в соседнем помещении. Платили согласно весу купленных товаров, а в камере все делилось на маленькие кучки. Каждый брал себе столько, сколько заказывал. Пока поедали свои запасы, а это длилось четыре-пять дней, у всех было хорошее настроение. А потом мы ждали следующего отоваривания.

Вечером главной проблемой было отыскать какое-нибудь местечко, лежали почти друг на друге. Дышать было тяжело. Повернуться на другую сторону можно было только в том случае, если все в этом ряду повернутся одновременно. Самым большим счастьем было устроиться на нарах, а наиболее трудным считалось торить себе ночью путь к параше. Нужно было ходить по чужим головам. Ежедневно нас водили на пятнадцатиминутную прогулку. Тюрьмы были переполнены, и на прогулку ходили группами. Тюремное начальство разрешило и ночные прогулки. Так, нас будили ночью, в два или три часа и гнали во двор.

Раз в месяц нас из одной камеры переводили в другую. Здесь нас снова раздевали догола, обыскивали и все, что было запрещено, отбирали. А что не было запрещено? Кусочек жести, железа, гвоздь, игла, любой твердый предмет – все это было запрещено. Обыск продолжался пять часов. Ночью нас гнали мыться и в это время дезинфицировали вещи, оставшиеся в камере.

Первый иностранец, с которым я познакомился в этой дырище, был венгерский коммунист Лантош. Он сидел в углу один и ни с кем не разговаривал. Это был типичный интеллигент с несимпатичным выражением лица, сухощавый, со взглядом из-под очков, всегда устремленным куда-то вдаль. Как-то я подошел к нему и поздоровался по-русски. Он ничего не ответил. Я не хотел навязываться. Но на следующий день совершенно случайно между нами состоялся разговор. Лантош не знал ни слова по-русски. Мы говорили по-немецки об обычных вещах. Я узнал лишь то, что он из Будапешта. В тот раз он мне больше ничего не рассказал. Через несколько дней его вызвали на допрос. Его увели ночью, а вернулся он на следующий день после обеда. Никому ничего не говорил. В камере знали, что его на допросах бьют. Ни на один из моих вопросов он не отвечал.

Однажды поздно вечером, около 23-х часов, вызвали и меня. В комнате следователя сидели Ревзин, Грушевский и два молодых человека. Грушевский писал протокол, задавал вопросы, я отвечал. Ему мои ответы не нравились. Он снова стал настаивать на том, чтобы я сознался, что являюсь агентом гестапо и т. п., а я опять отвечал, что не виновен и что не буду ничего подписывать. Сидевшие до того спокойно молодые люди вдруг, как по команде, обрушили на меня самые отвратительные ругательства: твою фашистскую мать, фашистская мразь, курва предательская и т. д. Трудно перечислить все ругательства. Одновременно они начали срывать с меня одежду. Поняв, что меня ожидает, я обратился к Ревзину:

– Разрешите мне еще один день подумать.

Ревзин приказал безбородым палачам оставить меня в покое. Затем и Грушевский, и Ревзин опять стали уговаривать меня сознаться, быть благоразумным, так как с НКВД шутки плохи.

Меня отвели в камеру.

Когда на следующую ночь меня снова вызвали, я сказал конвоиру, что не выйду из камеры. Конвоира это ошеломило. Он немного постоял в раздумье, а потом вдруг начал орать, как бешеный. Я забился в угол. Тогда он повернулся и ушел. Через десять минут вернулся с надзирателем.

– Иди сюда, сучий сын, – закричал надзиратель с порога.

Я не шелохнулся. Надзиратель угрожал и ругался.

– На допрос я не пойду до тех пор, пока сюда не явится прокурор.

Надзиратель попытался меня вытащить, обещая мне мед и молоко, но я не двигался с места. Поняв, что у них со мной ничего не получается, они ушли, а через час пред нами предстал начальник тюрьмы в окружении целой толпы энкавэдэшников.

– Ну-ка быстро идите сюда. Вы думаете, что мы играть с вами будем? – завопил начальник.

– Не пойду. Позовите прокурора, – ответил я из своего угла.

Они не могли подойти ко мне, так как камера была переполнена. Тогда начальник тюрьмы приказал освободить ее. Началась толкотня. Через десять минут камера опустела. А я остался в своем углу. Вся орава энкавэдэшников набросилась на меня, скрутила и одела в смирительную рубашку. После этого меня, словно мешок, оттащили в подвал и бросили в карцер. Внизу, глубоко под землей было 12 карцеров разной величины, одиночные и общие камеры. Меня бросили в одиночку, но, поскольку тюрьма была переполнена, в ней уже сидело четыре человека. На узких нарах, прикрепленных к стене, с трудом пристроились двое, остальные вынуждены были спать на полу. Над дверью денно и нощно горела элек-

трическая лампочка. По сравнению с предыдущей дырой здесь было более-менее сносно. По крайней мере, здесь можно было развернуться и прошагать метра два – до парашы в углу и назад. Котелок теплой воды и 300 граммов хлеба. Голод и страшный холод. Через пять дней меня перевели в камеру номер 61.

Когда я вернулся в свою старую камеру, Лантош спросил меня, почему я, коммунист, создаю трудности тюремному начальству. Он сказал, что в коммунистической России человек и в тюрьме должен вести себя как коммунист.

– Когда ко мне применяют фашистские методы, я вынужден защищаться любыми способами, какие только возможны в тюрьме, – ответил я.

В ответ на эти слова Лантош начал возводить теорию о том, как коммунисты должны жертвовать собой, если этого от них требует партия. Я ничего не понял в этой его теории. Какая польза была бы рабочему движению от того, что я признался бы в том, чего не совершал, что является ложью? Впрочем, можно было и не признаваться, но тогда, по его мнению, я должен был позволить избить себя до смерти. Я не мог принять этот вздор Лантоша.

Наконец, он начал говорить о себе. Он был секретарем запрещенной коммунистической партии Венгрии. Два года нелегально жил в Будапеште и руководил венгерским коммунистическим движением. В их ЦК сформировалась группа оппозиции, не согласная с линией Лантоша. Вместо того, чтобы работать в массах и организовывать их, они дни и ночи проводили на конспиративных квартирах в дискуссиях и цитированиях Маркса и Ленина. Так и не определив общую точку зрения, члены ЦК обратились за помощью к высшей инстанции – Исполкому Коминтерна в Москве. Представителем Венгрии в Коминтерне был Бела Кун, бывший председатель Совета народных комиссаров Венгерской Советской республики. Бела Кун провозгласил Лантоша фракционером и приказал ему прибыть в Москву. Лантош послушно приехал. Прямо в тюрьму. Его били, бросали в карцер, ругали, уговаривали. В конце концов он подписал показания, что по приказу правительства Хорти внедрился в коммунистическую партию, что был шпионом, что занимался вредительской деятельностью в партии и что честных коммунистов выдавал хортистской полиции.

Во всем этом Лантош признался и все подписал.

Я спросил его, есть ли хоть капля истины в том, что он подписал?

– Все то, о чем я сообщил и что подписал, – ложь. Именно та, вторая группа, обвинившая меня в Будапеште, состоит на службе у полиции и Хорти. Но коммунисты должны жертвовать собой.

Я не принял эту жертвенную дисциплину и никак не мог разобраться в антигуманных псевдокоммунистических теориях Лантоша. Он мне надоел.

Интересную историю поведал мясник Мишка, национальность которого я так и не смог установить. Он свободно говорил на румынском, венгерском, украинском языках и на идише. Он был единственным человеком в камере, который действительно был в чем-то виновен. Мишка (я забыл его фамилию) нам рассказывал, что он был членом коммунистической партии Западной Украины, входившей тогда в состав Чехословакии. В их организацию внедрился шпион. Полиции становилось известно все, что говорилось на их собраниях. Подозрение пало на одну девушку, еврейку, бежавшую из Польши от преследований полицией за коммунистическую деятельность. Девушка вступила в компартию всего несколько месяцев назад в Мукачево. Секретарь в Мукачево приказал эту девушку убрать. Иными словами, ее нужно было убить. Это задание поручили Мишке.

Однажды Мишка пригласил ничего не подозревавшую девушку прогуляться к реке, где они якобы должны выполнить некое партийное задание. Мишка привел девушку на пустынный берег, задушил ее и бросил в реку. Однако выполнил он свое задание плохо – девушка всего лишь потеряла сознание. В холодной воде она пришла в себя. Мишку охватил панический страх, когда он увидел, что она плывет к противоположному берегу. Он бросился

к железнодорожному мосту, перебежал на другой берег и поймал ее. Несчастная умоляла его не убивать ее. Мишка обещал пощадить ее, если она признается, что является тайным агентом полиции. Девушка уверяла его, что она ни в чем не виновата и поэтому признаться в таком не может.

Мишка надолго задумался. Затем вынул нож, зарезал девушку и снова бросил ее в реку. Через некоторое время обнаружили ее труп. Полиция не смогла ни установить личность девушки, ни найти убийцу. Вскоре, однако, было установлено, что убитая девушка ни в чем не виновата, а шпионом был сам секретарь.

В конце концов, полиции все-таки удалось напасть на след убийцы и Мишке пришлось бежать в Советский Союз, где некоторое время он жил спокойно. Когда же обнаружили настоящего шпиона в Мукачево и определили, что убитая девушка была невиновна, Мишку арестовали. Он, оправдываясь, ссылаясь на то, что выполнял партийное задание.

Нам стало известно, что в Бутырку перебросили группу из одной из провинциальных тюрем, чтобы на очной ставке свести их с некоторыми здешними заключенными. В нашей камере оказался один человек из этой группы – молодой инженер Миша Левикинов. Поняв, что находится в одной камере с политическими заключенными, он страшно испугался. Как его могли бросить в такую камеру, если он никогда в жизни не занимался политикой? Его интересует лишь работа и семья. У него молодая жена и маленький сынок. Он часами рассказывал о своей жене и двухлетнем сыне. Его жена не знает, что он арестован, так как он был в командировке и должен вернуться на работу через пять дней. Он написал, что вернется в субботу. И сейчас они его встречают на вокзале, а его нет! Что подумает жена? Ведь она его страшно любит.

Миша надеется, что с ним до субботы разберутся, и он успеет приехать домой вовремя. Но прошло уже несколько дней, а его, естественно, никто не вызывал и никто ни о чем не спрашивал. Наступила и суббота, в которую он должен вернуться домой, а он все еще не знает даже причины своего ареста.

Я спросил его, может быть, он с кем-то разговаривал и что-то ругал? Он долго думал, но ничего не смог вспомнить. В воскресенье утром он подошел ко мне и сказал:

– Знаете, я всю ночь не спал, постоянно думал и, знаете, вспомнил. Однажды я выругался по поводу того, что мне прислали плохой изоляционный материал. Может быть меня за это арестовали? Могут ли за это арестовать?

Он смотрел на меня в ожидании ответа.

– Откуда я могу знать, за что всех арестовывают? – пожал я плечами.

Но вот его вызвали на допрос. Через два часа он вернулся в камеру бледный, не говорящий ни слова. Он осмотрелся вокруг, затем сел в угол и заплакал. Я подошел к нему, чтобы его успокоить. Он начал рыдать. Тут кто-то закричал:

– Что ты хнычешь, как баба! Не будь хлюпиком.

Успокоившись, он рассказал о своей встрече со следователем: «Ты, хитрая и двуличная троцкистская змея! Признавайся в своей троцкистской деятельности, подлец, негодяй, сучий сын!»

Когда поток ругательств иссяк, следователь сказал ему, чтобы он подумал и во всем сознался сам. Если же он будет все отрицать, то арестуют его жену, а его мальчик останется беспризорным.

Отчаяние Миши было безграничным. Он отказывался от еды, по ночам – судорожно всхлипывал. За четырнадцать дней превратился в скелет. Просто растаял. Он постоянно думал, но ничего не мог понять.

Однажды ночью, когда все уже легли спать, открылась кормушка в двери камеры и надзиратель тихо позвал:

– Левикинов!

Миша, бледный и испуганный, вскочил со своего места.

– Что такое? Что такое? Что случилось? – закричал он.

– Приготовьтесь к допросу.

Миша оделся и подошел к двери. Солдат отконвоировал его к следователю. Вернулся он рано утром. На столе его ждал хлеб и кипяток. От хлеба Миша отказался и выпил только две кружки кипятка. Никто ни о чем не решался его спрашивать.

Через некоторое время он сам начал рассказывать, что он пережил на допросе.

– «А сейчас вы нам расскажете всё о вашей контрреволюционной троцкистской деятельности», – такими словами встретил меня следователь. Я ему рассказывал, как я жил и что делал в свободное время. Следователь слушал меня, не перебивая. Когда я закончил, он спросил: «Вы были комсомольцем?» Я ответил, что, еще будучи очень молодым, вступил в члены коммунистического союза молодежи. «Ну вот, если так, – сказал следователь, – то назовите нам всех членов троцкистской организации». Я удивился и сказал ему, что это была не троцкистская организация, и что с тех пор прошло уже десять лет и поэтому я не могу вспомнить ни одного имени и ни одного комсомольца. «Ах ты, троцкистская собака! – заорал на меня следователь. – Или ты сейчас же назовешь мне имена этих бандитов, или я из тебя сделаю кашу!» Я клялся всем на свете, что я никогда не был троцкистом и что не могу вспомнить ни одного имени. Тогда следователь взял лист бумаги и прочитал мне несколько имен. Только после этого я стал кое-кого вспоминать. «Ну, вот видишь, сучий сын, вспомнил имена. А теперь вспоминай, как вы восхваляли Троцкого». Но этого я никак не мог вспомнить. Тогда следователь пригласил в комнату неизвестных мне четверых мужчин, которые мне в лицо начали говорить, что я голосовал за какую-то резолюцию в защиту Троцкого. Я на это ответил, что я, как и большинство моих товарищей тогда, действительно голосовал за какую-то резолюцию, но не имею никаких связей с троцкистами. Следователь составил протокол о том, что я был членом троцкистской организации, который я и подписал. Вот так было на моем допросе, – всхлипнул Миша.

Через шесть недель его увели. Спустя несколько дней, моясь в душе, мы нашли записку: «Миша Левикинов, 10 лет лагерей».

Когда меня привели на очередной допрос, в кабинете я увидел одного Грушевского, встретившего меня с усмешкой. Спросив, почему я отказался идти на допрос, он начал убеждать меня, что ни у кого и в мыслях не было истязать меня. Я спросил, почему же тогда меня стали раздевать? На это он ответил, что те молодые люди были врачами и что они хотели меня раздеть и осмотреть. Говоря это, он опустил глаза, листая для виду какие-то бумаги. После этого он встал, прошелся по комнате и снова начал доказывать, как это глупо, что я не хочу сознаваться, и что этот мой твердолобый отказ подписать протокол может кончиться очень плохо.

– Вы можете меня разрезать на куски, но ложный протокол я не подпишу, – отрезал я.

– Это вам не поможет. Подпишете вы его или не подпишете, из тюрьмы вас все равно не выпустят. Если подпишете, то вам будет легче, а в противном случае вас ожидает тяжелая жизнь в лагере, – уверял меня Грушевский. И в этом он оказался прав: то, что я отказался подписать ложный протокол, очень тяжело на мне сказалось в тюрьмах и лагерях.

– Я советую вам изменить свое решение, ведь вы даже не представляете, что вас ожидает, – повторил он несколько раз.

Я знал, что в НКВД не останавливаются перед применением самых страшных и самых свирепых пыток для того, чтобы жертва призналась и подписала «показания». Важно было, чтобы она подписала.

Московский инженер Воробьев, с которым я лежал на одних нарах в 61-й камере, рассказал мне, каким образом его заставили подписать протокол. Партиец Воробьев в составе комиссии по закупке станков отправился в командировку в Англию. По возвраще-

нии оттуда его арестовали как вредителя. От него требовали признания в том, что он преднамеренно покупал такие станки, которые не соответствовали имевшемуся у нас оборудованию, и таким образом хотел помешать строительству социализма. Конечно, все это он делал в пользу английской буржуазии, стремящейся любой ценой помешать индустриализации СССР. Воробьев решительно отказывался признать это и подписать такую глупость. Однажды ночью, как и обычно, его вызвали на допрос. Через два часа он вернулся сломленный и отчаявшийся. Его нельзя было узнать. В тот момент он отказался что-либо рассказывать, ограничившись лишь словами:

– Я все признал и подписал.

И лишь на следующий день он поведал нам, как происходил процесс «признания».

– Как и обычно, привели меня в кабинет следователя. Он спросил, надумал ли я сознаться, а я ответил ему, что я не совершал никакого преступления, поэтому и сознаваться мне не в чем. Следователь посоветовал мне сейчас же во всем сознаться, так как мое дело они должны закрыть сегодня ночью и откладывать его больше нельзя. Я снова отказался признавать свою вину и подписывать ложь. Следователь снял телефонную трубку и кому-то приказал: «Приведите свидетелей против Воробьева». Разумеется, я был удивлен, я никак не мог взять в толк, что это за свидетели. Через несколько минут я услышал чей-то плач. Я узнал голос своей жены. Дверь открылась, и в комнату вошли моя жена, девятилетняя дочь и двенадцатилетний сын. Увидев меня, они горько заплакали, обняли меня, стали целовать и просить: «Папа, папа, подпиши, не делай нас несчастными. Если подпишешь, вернешься домой, а если не подпишешь, то и нас арестуют». Я был в отчаянии, я не знал, что делать, и начал объяснять детям, что я ни в чем не виноват и что мне нечего подписывать. Тут вмешался следователь: «И вам не стыдно? Собственная жена и дети вас просят, а вы и дальше упрямитесь. Через три дня вы могли бы быть дома». Дети и жена плачут. И я не смог этого выдержать. Взял перо и подписал.

Воробьев был осужден на десять лет лагерей, а его жену отправили в ссылку.

Военная тюрьма в Лефортово

Прошло еще несколько месяцев без допросов. Лишь в августе 1937 года я услышал привычный голос:

– Штайнер, на выход!

Когда меня вывели во двор, я заметил знакомую машину НКВД для «перевозки хлеба». Я подумал, что меня повезут на допрос на Лубянку, однако ошибся. Поездка длилась гораздо дольше. Когда машина остановилась и я вышел из нее, то заметил, что меня привезли в какую-то другую тюрьму. Я стоял посреди двора, окруженного со всех сторон зданиями с решетками. Меня подвели к каким-то воротам, где меня встретил офицер НКВД и спросил, как зовут, когда родился, а потом приказал солдату обыскать меня. Меня раздели догола и тщательно осмотрели одежду. Когда все закончилось и я снова оделся, на руки мне надели наручники, а на ноги кандалы.

– Вперед! – скомандовал солдат.

С огромным трудом, еле волоча ноги, я поднимался по лестнице. Конвоир открыл оконную железом дверь и втолкнул меня внутрь. Я оказался в квадратном каменном мешке, длина и ширина которого равнялась одному метру. В одном углу стоял табурет, привинченный к полу. Усевшись, я стал думать, куда же меня привезли. Проходили часы, меня стал мучить голод. Если меня увезли из Бутырок в полдень, то сейчас должен быть вечер. Я ждал ужина, но напрасно. Подойдя к двери, я постучал. Надзиратель спросил, в чем дело. Я сказал, что еще не получил ужина.

– Ты чего? Какой может быть ужин в час ночи.

Я снова сел. Что все это значит? Что они хотят со мной сделать? Я устало лег на голый бетон, а проснувшись через некоторое время, подняться не смог. Тут открылась дверь и конвойный приказал выходить. Собрав все силы, я попытался подняться, но не смог даже пошевелиться.

В конце концов меня подхватили под руки два конвоира и потащили через двор в другое здание. Я оказался в ярко освещенной комнате на третьем этаже. Слева и справа обитые кожей двери. В ожидании я рассматривал висевшие на стенах портреты Сталина, Молотова, Ежова и Кагановича. На одной из стен висели часы, показывавшие два часа десять минут. Меня провели в соседнюю комнату. За письменным столом сидел человек в штатском, рядом стояли два сотрудника НКВД в форме. Справа, возле стены, сидел еще один человек, показавшийся мне знакомым, хотя лицо его было покрыто многодневной щетиной. Сидевший за письменным столом произнес:

– Сейчас будет проведена очная ставка. Предупреждаю вас, что вы не имеете права задавать свидетелю никаких вопросов. Знаете ли вы человека, находящегося здесь?

– Кажется, знаю.

– Кто это?

– Не могу вспомнить?

– Подумайте.

Я мучительно пытался, но никак не мог вспомнить, откуда я знаю этого человека. Видя мои затруднения, следователь обратился к свидетелю:

– А вы? Знаете ли вы этого человека?

– Да.

– Кто это?

– Это Штайнер.

– Откуда вы знаете Штайнера?

– С ним меня познакомил Эймике.

– Кто такой Эймике? – спросил следователь странного свидетеля.

– Это резидент гестапо в СССР.

– Что вы знаете о Штайнере?

– Эймике мне рассказывал, что Штайнер является агентом гестапо.

– Что вы на это скажете, Штайнер?

– Этот человек или безумец, или провокатор, вот что я думаю, – ответил я, а следователь тут же вскочил и набросился на меня с потоком отвратительнейшей брани, и со всей силы ударил меня по лицу.

Из носа у меня потекла кровь, в глазах потемнело. Придя в себя, я увидел стоящего рядом солдата со стаканом воды и полотенцем в руках. Побрызгав водой на полотенце, солдат стер с моего лица кровь. Кто-то принес чашку чая и насильно влил мне его в рот. Следователь приказал снять с меня кандалы. Я обратил внимание, что свидетеля в комнате уже не было. Но следователь приказал привести его снова.

– Щутц, вы подтверждаете заявление, сделанное вами несколько минут назад? – обратился к нему следователь.

Услышав фамилию Щутц, я вспомнил, кто это. Ну да, это был тот самый человек, с которым я сидел в ресторане «Метрополь» в тот момент, когда к нашему столу подошел Эймике. Именно Щутц мне его и представил. Самого Щутца я знал поверхностно, это было ресторанное знакомство. В тюрьме он так изменился, что я не смог его узнать. На вопрос следователя Щутц ответил не сразу, заставив того вскочить, заорать и спросить, не желает ли он, Щутц, снова оказаться в карцере. После этого тот еле слышно ответил:

– Да, подтверждаю, – и, подойдя к столу, подписал заявление.

Следователь попытался заставить меня сознаться. Он грубо ругался, но я упорствовал. Тут офицер, стоявший рядом, подошел к двери, позвал конвойного и сказал ему, указывая на меня пальцем:

– Уведите эту скотину к черту!

Меня снова отвели в уже знакомую квадратную каменную гробницу. Одиночество меня успокоило.

Через час меня перевели из карцера в обычную камеру. Это была одиночка с одной железной койкой, которая днем прижималась к стене. Утром мне принесли кусочек хлеба и кипятка. Я тут же ожил и даже попробовал пройтись по камере, но очень быстро устал. Сел на табурет, положил голову на стол и задремал.

– Не спать! – прокричал надзиратель в глазок.

На четвертый день ко мне в камеру подсадили человека. Я уже не помню его имени. Знаю только, что он был секретарем академика Губкина, что его перевели сюда из Бутырской тюрьмы и что его обвиняли в троцкизме. Я спросил его, как называется эта тюрьма.

– Это военная тюрьма Лефортово, – ответил он.

Вечером его увели на допрос, и больше в камеру он не вернулся.

В Лефортове я провел две недели. Это был настоящий ад. Каждую ночь раздавались жуткие стоны и ужасные крики. По одну сторону коридора были кабинеты следователей, по другую – камеры. Только в этой тюрьме я видел такое расположение: и камеры, и кабинеты следователей находились напротив в одном коридоре. У заключенного не было ни секунды покоя. Если его самого не мучили, он должен был слушать, как мучают других, как их бьют и измываются над ними. Это было непередаваемо жутко. Особенно невыносимо было, когда допрашивали женщин, как правило, жен арестованных раньше «врагов народа». Как только над ними не издевались! Их избивали дубинками, подвергали отвратительным пыткам, осыпали площадной бранью, и все для того, чтобы они оговаривали своих мужей. Жен, проживших со своими мужьями по двадцать лет, арестовывали только за то, что они «поддерживали связь с врагом народа». За эту «связь» они получали по десять-пятнадцать лет сибирских

лагерей. Их дети, как правило, оказывались в детских домах НКВД. Ни родственники, ни кто бы то ни было другой не решались брать этих детей к себе, ибо опасались ареста за все ту же «связь с врагом народа».

Меня привели к прежнему следователю, который задал мне все тот же вопрос: надумал ли я подписать протокол? Я снова ответил, что ни в чем не виноват. Следователю надоело со мной возиться. Он сказал, что дает мне пятнадцать минут. Если я через пятнадцать минут не подпишу протокол, он меня расстреляет. Меня отправили в камеру, располагавшуюся напротив кабинета следователя. Через пятнадцать минут за мной пришли.

– Ну что, будете подписывать?

– Я подумал. Я лучше умру, чем подпишу ложь, – ответил я.

Следователь вынул часы и взглянул на меня.

– Даю вам еще пять минут.

Я молчал. Следователь нажал на кнопку. Вошел солдат.

– Позовите ко мне лейтенанта.

Тот появился тут же.

– Вот, возьмите этого, и в расход.

Лейтенант подошел ко мне, раздел догола, одежду бросил в угол, снял телефонную трубку и произнес:

– Двух человек в полном снаряжении на третий этаж в 314-ю комнату.

Вошли два конвойных с примкнутыми к винтовкам штыками. Тело мое била дрожь, по лбу потекли струйки холодного пота. Солдаты окружили меня с двух сторон.

– Вперед! – скомандовал лейтенант.

Я не мог пошевелиться. Они толкали меня впереди себя. Спустились в подвал. Навстречу нам шел какой-то офицер и, сделав удивленное лицо, спросил, куда меня ведут. Лейтенант остановился и отрапортовал:

– На расстрел!

– Верните его. Попробуем еще раз, – приказал офицер.

Меня отвели в камеру. Одежда моя была уже там. Я лег на койку, накрылся, но никак не мог согреться, стучал зубами от холода и долго дрожал, как в лихорадке. Наконец заснул. Через три дня меня вызвал начальник тюрьмы, вручил мне какой-то отпечатанный на машинке бланк и предложил прочитать его и подписать. Это был «обвинительный акт»:

«Из достоверных источников НКВД стало известно, что политэмигрант Карл Штайнер завербован гестапо, что он занимался шпионажем и готовил акты диверсий. Для выполнения этих целей обвиняемый Карл Штайнер вступил в связь со многими иностранными и советскими гражданами.

Карл Штайнер состоял в членах организации, убившей С. М. Кирова. Несмотря на упорное отрицание обвиняемого, его преступление доказано показаниями свидетелей.

На основании вышеизложенного Карл Штайнер обвиняется по статье 58, пунктам 6, 8 и 9. На основании закона от 1 декабря 1935 года обвиняемый предается Военной коллегии Верховного Суда СССР.

Генеральный прокурор СССР:

А. Вышинский».

Военный трибунал

Итак, все иллюзии относительно моего освобождения рассеялись. Мне вручили обвинительный акт. Теперь мне стало ясно: тот, кто арестован, виноват наперед. Это главный и непоколебимый принцип НКВД. Суд – это формальность. Обман и ничего больше.

Ночью, 6 сентября 1937 года меня снова бросили в каменную гробницу, в которой я пробыл два дня. Два раза в день я получал по 400 г хлеба и кружку кипятку. В 23 часа за мной пришли конвойные и отвели меня в комнату площадью в тридцать квадратных метров. Стол был покрыт зеленой скатертью. В комнате не было никого, кроме конвойных и меня. Мне приказали сесть, но не успел я этого сделать, как вбежал офицер и закричал:

– Встать, суд идет!

В помещение вошли высшие офицеры и сели за зеленый стол. За маленьким столиком сбоку устроился молодой человек в форме – секретарь суда. Начался суд. Офицер, сидевший в центре, произнес:

– Начинается разбирательство военной коллегии Верховного Суда СССР в отношении Карла Штайнера, обвиняемого в преступлениях, соответствующих статье 58, пунктам 6, 8 и 9 Уголовного кодекса. Обвиняемый, встаньте! Признаете ли вы себя виновным?

– Нет! Я абсолютно не виновен.

– Как вы оказались в России? – спросил председатель суда.

Не успел я произнести и двадцати слов, как председатель прервал меня:

– Прошу вас, покороче.

Я хотел было продолжить, но председатель снова не дал мне говорить.

– Имеете ли вы что сказать в своем последнем слове?

Только я открыл рот, как снова заговорил председатель:

– Нам все известно. Достаточно!

Председатель повернул голову налево, направо, что-то шепнул левому, затем правому офицерам. После этого все трое встали и вышли. Конвоир приказал мне сесть. Прошло немного времени, и судьи вернулись. Раздалась команда: «Встать!» Председатель, держа в руках лист бумаги, прочитал нечто такое, из чего я понял лишь приговор. Он гласил: десять лет строгого режима. Весь судебный процесс длился не более двадцати минут. Не было ни государственного обвинителя, ни защиты.

В том же коридоре, где был зал суда, конвоир открыл дверь одной из камер и втолкнул меня внутрь. Я оказался среди людей, которым вынесли приговор в этот же день и таким же образом, как и мне. Здесь было восемнадцать человек. В общей сложности суд над ними продолжался чуть меньше четырех часов. В камере находились рабочие и крестьяне, техническая интеллигенция и партийные деятели. Оказался здесь и директор цирка. Когда я вошел в камеру, никто меня не спросил, сколько лет я получил.

Это было известно всем!

Никто меня не спросил, как проходил процесс и каково было обоснование приговора.

У всех все было абсолютно одинаковым.

Приговоры были заранее отпечатаны на машинке. Свободное место оставлялось только для инициалов. Никто не требовал себе копию приговора. Это не имело никакого смысла. В приговоре ясно сказано, что он обжалованию не подлежит.

Никто никому не может пожаловаться.

О помиловании и речи быть не могло.

Таким было законодательство Сталина и его ближайших соратников – Вышинского, Смирнова, Ульриха, Матулевича и им подобных.

Путь в Сибирь по этапу

Вечером 7 сентября 1937 года, около восьми часов, нас вывели во двор тюрьмы, где стоял уже наполовину заполненный «черный ворон». В тот же день осудили еще четырнадцать человек. Всего получается тридцать два. Отвезли нас на пересыльный пункт Бутырской тюрьмы и высадили посреди большого двора, в котором размещалась церковь. При царе она обслуживала заключенных, сейчас же ее перестроили. Из нее сделали большое трехэтажное здание с множеством больших и маленьких камер. В каждой камере двух- и трехъярусные нары. Все камеры, рассчитанные на тридцать-сорок человек, были переполнены. В каждую из них сейчас набили в десять раз больше заключенных. Условия гигиены не выполнялись. Вместо уборных здесь стояли большие деревянные параша. Утром на восемнадцать человек выдавали всего по одной шайке воды. В нашей камере не было даже нар. Там стоял один большой стол. Я был счастлив, что мне удалось устроиться на краешке этого стола, иначе бы пришлось спать на голом цементном полу.

В камере после приговора царил мир, исчезло и большое напряжение, и беспокойство. Никого не уводили на допросы. Мы могли говорить обо всем и всяком.

Рядом со мной сидел Василий Михайлович Чупраков – главный инженер московского компрессорного завода. Это был тип настоящего русского помора (сам он был родом из Котласа) – высокий и сильный, светловолосый и голубоглазый. Не привыкши сидеть без работы, он всегда находил себе какое-нибудь занятие. Вот и сейчас он латал нашу одежду. Почти каждый из нас рассказывал о своей жизни. Лишь Ефим Морозов, директор цирка, был подавлен. Он вздыхал и всхлипывал.

Пришел и мой черед рассказывать о себе, о том, как я приехал в Москву, что делал и как жил до ареста.

В Москву я прибыл 14 сентября 1932 года из Берлина через Литву. Шел дождь. Я быстро вскочил в автомобиль, уже ждавший меня на вокзале. Я был счастлив, что, наконец оказался в городе, о котором столько мечтал. На следующий же день я, согласно инструкции представителя Исполкома Коминтерна в Берлине, обратился к руководителю отдела Международных связей Абрамову. Моя первая встреча с ним была очень короткой. Абрамов вызвал начальника хозотдела Черномордика, и распорядился выделить мне жилье и обеспечить пропитанием. Тут же мне выдали пятьсот рублей.

– Отдохните несколько дней, а затем приходите ко мне, – сказал Абрамов на прощание.

Целый месяц я гулял по Москве. Когда же мне эти прогулки надоели, я решил снова обратиться к Абрамову. Отправившись в здание Исполкома Коминтерна, я обратился к дежурному сотруднику НКВД. Тот подозрительно осмотрел меня, затем кому-то позвонил. Через пятнадцать минут мне вручили пропуск к Абрамову. По дороге к нему меня еще трижды останавливали, требуя предъявить пропуск. В приемной Абрамова меня встретила его секретарша. Там я просидел целый час и лишь после этого был принят. Невзрачная фигура Абрамова тонула в большом кресле. Сквозь очки на меня смотрели пронизательные глаза. Задав для приличия несколько вопросов, Абрамов, наконец, спросил, четко выделяя каждое слово:

– Вы бы смогли руководить большой типографией и издательством специального назначения?

Я ответил, что у меня есть опыт такой работы.

– Тогда все в порядке. Обратитесь к Коларову, я с ним переговорю.

Коларов возглавлял Балканскую секцию Коминтерна, располагавшуюся в бывшем особняке русского промышленника Морозова на Воздвиженке, 14. Ныне эта улица носит

имя Калинина. Я обратился к вахтеру, сотруднику НКВД, который, услышав мою фамилию, заглянул в какой-то свой список и произнес:

– Одну минуточку.

Я даже присесть не успел, как появился начальник секретариата Коларова Степан Адамович Бергман и повел меня к своему шефу. Тот, сидя в кресле, подал мне руку. В отличие от Абрамова, был со мной любезен. Это был сильный человек среднего роста с лысой головой, сидевшей на короткой шее. Он больше напоминал торговца, чем подпольщика, взорвавшего в 1923 году софийский кафедральный собор. Во время взрыва погибли сотни людей, в том числе министры, генералы и высокие государственные деятели.

Коларов позвонил. В кабинет вошла девушка, его секретарь.

– Сделайте нам две чашечки чая.

Пока мы пили чай, он расспрашивал меня о том, как я добирался, как выглядит Берлин, как поживает в Берлине товарищ Димитров и что я думаю о политической ситуации в Германии. Я сказал, что большинство считает, что Гитлер придет к власти в ближайшие несколько недель, максимум через месяц.

– Но мы не допустим, чтобы он пришел к власти, – небрежно произнес Коларов и обратился к Бергману:

– Сделайте все, что нужно, для товарища Штайнера.

Я попрощался с Коларовым и последовал за Бергманом в его канцелярию. Там мы два часа беседовали о моей предстоящей работе. Бергман водил меня из отдела в отдел и знакомил с руководителями – болгарами Горевым, Зелесовым, Бойкикевым, с румынами Паукер и Миронеску, с югославами Филиповичем, Бошковичем, Радо Вуйовичем (Лихтом), Чопичем (Сенкой) и Гргуром Вуйовичем (Грегором). Познакомился я и с двумя поляками – Верским и Михальчулом. У большинства были псевдонимы. Балканской секции, занимавшей весь морозовский особняк, принадлежала еще и трехэтажная пристройка во дворе, где располагались типография и издательство МАИ (Международного аграрного института).

Итак, я вступил в должность. Две недели ушли на принятие дел в типографии и издательстве МАИ и знакомство с большинством персонала, среди которого были люди разных национальностей. Уже в первый день на меня произвел плохое впечатление тот факт, что в столовой было два разных зала. Большой – для «простых» рабочих и служащих, а второй, малый – для руководящих работников. В малом зале столы были покрыты скатертями, меню было разнообразным, как в ресторане, у стола прислуживал метрдотель.

Я сразу же попытался уравнять оба зала таким образом, что распорядился сервировать их одинаково и взимать одну и ту же плату. Из-за этого у меня произошел разговор с «тройкой» Балканской секции. «Тройка» состояла из представителя управления, секретаря парткома и председателя профкома. Они заявили, что моя позиция ошибочна и приводит к уравниловке. Мне пришлось отменить свое распоряжение. Через некоторое время я во второй раз столкнулся с «тройкой». Я хотел договориться с московским мясокомбинатом, чтобы он каждую субботу выделял нам три тонны внутренностей, а мы им обязались взамен печатать из бумажных отходов бланки. Они согласились. Рабочие и их семьи две субботы подряд получали по два-три килограмма мяса. Это заметил Бергман, который тут же заинтересовался, откуда мясо и каким образом его делят. Шеф-повар сообщил ему, что между мной и руководством мясокомбината было достигнуто такое соглашение. Естественно, об этом сразу же доложили Коларову. Он вызвал меня к себе и посоветовал прекратить раздачу мяса рабочим. Все мои попытки как-нибудь отстоять свою позицию ни к чему не привели. Коларов считал, что это будет способствовать появлению группы привилегированных рабочих, чего допускать никак нельзя. И все же я попытался кое-что сделать для рабочих.

На московской окраине Всехсвятское находилось наше рабочее общежитие, в котором, в основном, жили холостяки и малосемейные. Квартир были примитивными, годами не

ремонтировались, со стен падала штукатурка, полы прогнили. Мне с трудом удалось убедить Коларова и Бергмана, что общежитие необходимо капитально отремонтировать. Мой предшественник, венгр Ференц, которого на это место поставил Бела Кун, полностью запустил предприятие, и я приложил немало усилий, чтобы привести его в порядок. В короткое время возросла активность рабочих, я завоевал среди них авторитет. Когда в 1935 году в нашей парторганизации проходила партийная чистка, стоило мне появиться на трибуне для выступления и ответов на вопросы парткомиссии, как все рабочие и служащие типографии встретили меня бурными аплодисментами. Я был удивлен. Представитель компартии Югославии Гргур Вуйович и представитель компартии Австрии Гроссман говорили обо мне как о мужественном революционере. Все меня хвалили. Председатель парткомиссии, генерал Красной армии, сказал, что предоставит слово лишь тому, кто выскажется о моих недостатках. Но таких выступающих не оказалось. Спустя несколько дней председатель комиссии сообщил, что я единогласно переведен в ВКП(б).

Мне приходилось принимать участие и в общественной жизни. Меня приглашали на различные конференции и собрания, на которых я, как представитель иностранного пролетариата, рассказывал русским рабочим и служащим о тяжелой жизни рабочих в капиталистических странах. Однажды я выступал на собрании студентов института иностранных языков. Там я познакомился с девушкой, которая вскоре стала моей женой. Я женился, получил квартиру и жил в полном счастье.

Круг наших знакомых состоял из живших в Москве эмигрантов из различных стран Европы. Многие из них разочаровались в России, но всегда искали и находили объяснения происходящему – все, что не соответствует здесь их коммунистическим идеалам, является наследием царского самодержавия. Лишь изредка доводилось слышать очень мягкую критику.

Когда в августе 1935 года я вернулся с Кавказа, где проводил отпуск, меня неприятно поразили два события. Мой заместитель по издательству Николай Маркович Любарский был арестован. На партсобрании было сказано, что он арестован за троцкизм. Второй неприятный сюрприз ожидал меня в типографии – там я застал еще одного заместителя. Мне никогда и в голову не приходило, что в типографии нужен второй заместитель, я пошел к Коларову с просьбой объяснить мне, как все это могло произойти в мое отсутствие и без моего согласия. И Коларов, и Бергман успокаивали меня тем, что я перегружен работой и что предприятие будет расширяться, и поэтому мне нужен еще один заместитель. Вскоре выяснилось, что мой новый заместитель, Смирнов, является секретным сотрудником НКВД, ибо НКВД не мог допустить, чтобы в таком большом и важном предприятии у него не было своего осведомителя. В первое время Смирнов вел себя очень скромно. Но несколько позже он попытался внести в работу кое-какие изменения, которые я не одобрял и которые отменил. Смирнов становился все более агрессивным. Опираясь на своих негласных начальников, он начал критиковать предпринимаемые мною меры. На партийном собрании он говорил, что на нашем предприятии процветает «буржуазный дух». Мне даже не пришлось ему отвечать, так как его слова опровергали сами рабочие. В 1936 году, по случаю майских праздников, я получил большую денежную премию «за большие успехи в деле строительства социализма в Советском Союзе». Эти деньги нам с женой оказались очень кстати, так как жена ждала ребенка.

Но как отличалась моя нынешняя, московская, жизнь от заграничной! Мне приходилось регулярно посещать монотонные партийные собрания, на которых читались лекции, различавшиеся лишь по названию. На собраниях восхвалялась «мудрая политика» Сталина. Редко когда можно было услышать более глубокую мысль. Во время дискуссий ни о чем существенном не говорилось, каждый выступающий должен был хоть раз упомянуть имя Сталина. Я часто выступал на собраниях нашего предприятия. Поначалу я не знал, что чер-

новик выступления следовало показывать партийному секретарю, который вставлял в него актуальные вопросы, решаемые в тот момент партией. У меня было очень мало личных связей с людьми, с которыми я работал. Трудно было найти русского, который решился бы поддерживать личные связи с иностранцем. Иностранные и русские коммунисты встречались только на партсобраниях. Родственников жены я почти не знал. Никто не решался приходить к нам в гости. Когда родственники моей будущей жены узнали, что она выходит замуж за иностранца, они советовали ей этого не делать. Единственным аргументом против женитьбы было:

– Да ведь он иностранец.

Даже после того, как Соня сказала, что я член партии, они не изменили своего мнения.

Однажды я сидел в сквере на Тверском бульваре. Рядом присел какой-то мужчина. Мы поговорили об обычных вещах. Но когда он заметил, что я иностранец, то встал и извинился:

– Вы очень симпатичный человек, но будет лучше, если я уйду.

И он пересел на другую скамейку.

На нашем предприятии секретарем комитета комсомола работала девушка Таня. Ей вздумалось пригласить меня к себе домой и познакомить со своими родителями. Её родители и замужняя сестра обрадовались моему приходу. Приглашали приходить еще. Через несколько недель я застал в их доме морского офицера, мужа Таниной сестры. Все вели себя очень сдержанно, даже холодно. Я быстро выпил чай, сказал, что у меня есть еще дела, и ушел. На следующий день ко мне, якобы по служебным делам, зашла Таня и сказала, что ей очень жаль, что я так быстро ушел, но что я все-таки хорошо сделал, уйдя так рано. Ее шурин не любит, когда в квартиру приходят иностранцы.

Поэтому мне оставалось дружить только с иностранцами. Я радовался, когда время от времени из-за границы приезжали мои знакомые и рассказывали последние новости. Постепенно я стал ощущать вокруг себя удивительную пустоту, отчего у меня постоянно было дурное настроение.

Как-то, было это еще в 1934 году, я сидел в ресторане «Метрополь» с представителем отдела международных связей в Вене русским Баралом и директором крупнейшего универмага Москвы «Мосторг». Говорили мы и о положении в Советском Союзе. Тогда я сказал следующее:

– Венские социал-демократы пятнадцать лет убеждали меня в том, что здесь далеко не все в порядке. Мне понадобился всего лишь один день для того, чтобы убедиться в их правоте.

Не прошло и месяца, как меня вызвали в Коминтерн. Черномордик, начальник хозотдела, сказал мне:

– Ты забыл, где находишься? Может, тебе кажется, что ты в Вене, и можешь болтать свободно обо всем, как в венском ресторане?

Приближалась годовщина Октябрьской революции. Мы хотели пригласить некоторых друзей, чтобы торжественно ее отметить. 4 ноября 1936 года я, как и обычно, пошел на работу. Начальник планового отдела сообщил мне, что в октябре мы перевыполнили план на 29 %. Я пригласил к себе начальников отделов, чтобы обговорить с ними, как мы будем награждать рабочих. В обеденный перерыв я отправился с Филиппом Филипповичем (он же Бошкович) в только что открытый ресторан для высших функционеров, располагавшийся в одном из крыльев Кремлевской больницы.

– Ресторан «Кемпински» в Берлине ничто по сравнению с этим, не правда ли? – спросил Бошкович.

Я ему не ответил, так как в ресторане «Кемпински» не был.

Во второй половине дня я пошел в канцелярию полиграфической промышленности на Таганке, чтобы заказать кое-что для нужд предприятия на будущий год. Здесь я столкнулся

с определенными трудностями и вынужден был обратиться к Пятницкому, который через ЦК ВКП(б) добился того, чтобы все мои заказы были выполнены. Когда я вернулся к себе, ко мне на прием пришла директор нашей подшефной школы и попросила, чтобы я выделил для школы хоть немного денег, а также пригласила меня принять участие в торжественном заседании 6 ноября.

Бухгалтер нашего издательства заметил мне, что я выделил слишком большую сумму на подарки детям наших сотрудников по случаю праздника. Мы долго спорили по этому поводу, пока он не согласился. Было уже 18 часов. Я отправился к зубному врачу. В 20 часов я был дома. После ужина мы пошли с женой на прогулку. В 23 часа легли спать.

Я еду!

По окончании моего рассказа все молчали. И тут Немировский, электроинженер с Украины, прерывая затянувшееся молчание, рассказал трагикомический случай, происшедший с ним во время лечения в Кисловодске.

— Когда я появился в канцелярии санатория в Кисловодске, мне сказали, что я, к сожалению, должен буду поселиться в комнате с еще одним человеком. Но пусть меня это не пугает, так как мой сосед очень хороший и вежливый человек. Устав в дороге, я лег довольно рано и сразу же заснул. Разбудил меня удивительный сон. Мне приснился какой-то кошмар, который тут же заставил меня проснуться. И тут я увидел, что мой сосед стоит у подножья моей кровати и разглядывает меня в упор, явно намереваясь подойти ко мне, а затем вдруг вытягивает руки и, словно подталкиваемый изнутри, прыгает на меня. Его руки стали искать мое горло. Я вскочил и сбросил его с себя. Началась борьба и шум, от которого проснулись люди в соседних комнатах. Наконец пришел санитар и расцепил нас. Я тут же потребовал встречу с кем-нибудь из администрации. Там я все объяснил. На следующий день это дело начали расследовать и выяснилось, что этот «хороший и вежливый человек» — душевнобольной, страдающий манией преследования — пытался меня задушить. Какой уж тут отдых и лечение.

Так, в рассказах о собственных приключениях и пересказах прочитанных книг прожили мы десять дней. Когда же снова зашли разговоры о пережитом во время следствия, Саша Вебер, бывший народный комиссар просвещения автономной республики Немцев Поволжья, принялся защищать Сталина и его режим и оправдывать отвратительные методы НКВД. Он говорил, что все это временно и коммунисты должны это понимать, хотя его самого, Вебера, страшно мучили и повыбивали почти все зубы.

* * *

17 сентября 1937 года нам приказали собираться в дорогу. Под усиленной охраной отправили на Курский вокзал. На запасном пути стояли два пассажирских вагона третьего класса. Вместо окон — решетки. Наша машина остановилась у самого вагона. Один за другим мы выходили из машины и заходили в вагон. В оба вагона втиснули около восьмидесяти лагерников и приказали сидеть смирно. Разговаривать можно было только шепотом. Мы попытались узнать у конвойных, куда нас повезут, но эти попытки оказались тщетными. Охрана не соизволила произнести ни единого слова. Мы стояли на станции два часа и наблюдали за маневрированием товарных поездов. Машинисты, кочегары и другие железнодорожники проходили мимо, с любопытством разглядывая нас. Grimасами давали понять, что они нас жалеют. И некоторые прохожие смотрели в наши окна. Было ясно, что эти люди искали среди нас кого-то из своих. Мы строили предположения о том, что женщины, случайно узнавшие, что их мужья осуждены, неделями бродили по путям московских вокзалов в надежде хотя бы издали увидеть родные лица. Я думал о Соне. Как хорошо было бы, если бы среди прохожих появилась и она. Как она выглядит? Здорова ли? Что с ребенком? Я ничего не знал. Конечно, она обходила тюрьмы, но это были безнадежные попытки.

Никто не мог узнать, где находится арестованный и что с ним происходит.

Наконец нас прицепили к пассажирскому поезду, стоявшему на первой платформе. С грустью смотрели мы на людей, свободно ходивших по перрону, сидевших в ресторане и закусывавших. Но вот поезд тронулся. Сердце мое сжалось. Куда? Когда я вернусь? Все молчали. Поезд миновал юго-восточные окрестности Москвы. С обеих сторон загона, вместо дверей, были железные решетки, сквозь которые за нами наблюдали охранники, постоянно

напоминавшие, что разговаривать запрещено. Не спеша, перешептываясь, мы развязывали свои мешки с харчами, с так называемым «этапным пайком». В Бутырках нас снабдили продуктами на два дня – 1 кг 200 г хлеба, селедка и два куса сахара. Рядом со мной сидели Чупраков и Мареев. Мареев был управляющим большим нефтяным трестом в Москве. Типичный русский крестьянин: невысокого роста, широкоплечий, светловолосый, нос картошкой. Но он был очень сообразительным и работающим. Мареев жевал часть своего пайка и, казалось, улыбался. Я взглянул на него.

– Нет, нет, ничего, – сказал он. – Просто я вспомнил своего начальника в наркомате. Он был приверженцем четкой партийной линии и по любому поводу на собраниях бросал фразы о том, что необходимо любыми средствами направлять каждого на партийную линию или, как он сочно выражался, нужно было каждому поскипидарить задницу. Однако и моего начальника «поскипидарили» так же, как и нас – арестовали. На очной ставке он утверждал, что я его вербовал в контрреволюционную организацию. Таким образом, нас всех «поскипидарили» и теперь – езжай, игумен, в монастырь.

Так шепотом беседуя, мы почувствовали, что что-то происходит. Кто-то под лавкой нашел «Известия». Вероятно, газету забыл охранник. Газету читали с большим интересом, но нельзя было терять и бдительности, так как охрана могла заметить, чем мы занимаемся. И все-таки всеми нами овладело такое возбуждение, что мы позволили незаметно подойти к нам охранникам и отнять газету.

Во Владимирской пересылке

Через двенадцать часов поезд остановился на какой-то станции, начав маневрировать и оставив на запасном пути вагоны с заключенными. Мы прочитали название станции – Владимир. Подъехало три «воронка», в каждый разместили по двадцать пять человек. Было пять часов утра. Нас везли по окраинам во владимирскую тюрьму, находившуюся за городом. Конвой предупредил нас, что будут стрелять, если кто-то попытается бежать. В машине никто не смел даже повернуть головы. Владимирская тюрьма стояла на холме. Нас высадили и оставили перед тюремными воротами на целых два часа.

Вокзалу во Владимире более ста лет. Сто пятьдесят лет назад здесь была построена этапная станция для несчастных, сосланных на каторгу в Сибирь. В трех зданиях раскинулась общая тюрьма, а в четвертом – одиночки. Последнее здание было построено относительно недавно, в 1912 году. Рядом с этими зданиями находились больница, баня и кухня.

Наконец, ворота открылись. Раздалась команда:

– Внимание! Заключенные, встать!

Мы поднялись из грязи, построились в колонну по пять и вошли в большой двор. Началась переключка. Нужно было назвать свое имя, отчество, фамилию, день и место рождения, статью и срок наказания. После переключки нас отвели в помещение, в котором было запрещено разговаривать, курить и есть. Мы долго ждали, когда подошла моя очередь, меня отвели в отдельную комнату, раздели догола, отняли все – одежду, белье, личные вещи. Энкавдэшник очень тщательно обыскивал все мое тело. Но когда он сунул мне палец в рот, глубоко в горло, я не выдержал, оттолкнул его руку, а он заорал:

– Фашист!

После обыска нас повели в душ. Раздали тюремную одежду и обувь, остригли наголо и отправили в камеру. Смешно и сиротливо выглядели мы в своем новом одеянии. Темно-синяя хлопчатобумажная роба, залатанная коричневыми заплатами на локтях и коленях, шапочка, ботинки на резиновой подошве, скомбинированные из свиной кожи и некачественного сукна, короткий бушлат – все это висело на нас и было слишком широким, либо слишком тесным. Мы с трудом узнавали друг друга.

Нас поместили в камеру на первом этаже, окна которой были наполовину под землей. К тому же солнце туда не попадало вообще, так как они были обращены на север. Нары располагались в два ряда: в одном ряду семь, в другом – шесть. Был еще и большой стол. Вот и вся мебель. На каменных нарах лежали соломенный тюфяк, подушка, также набитая соломой, и покрывало. Было холодно. Паровое отопление не работало. Камера была слишком узкой для того, чтобы человек мог свободно по ней пройти. Нары и стол вмонтированы в цемент. В углу стояла жестяная параша.

Ощущение было неприятное. Мы потеряли все надежды на то, что здесь нас оставят в покое и будут обращаться с нами по-человечески. Два раза в день нас выводили в уборную и требовали, чтобы тридцать человек за пять минут справляли нужду. Конвойный нас стаскивал с очка так, что мы даже не успевали надеть штаны. Мы все время страдали от голода. Пятьсот граммов хлеба ежедневно, утром немного чая, в обед и вечером тарелку овощной или картофельной баланды, мисочку каши. Все было жидкое, и к тому же всего было мало. Двор, в который нас водили гулять, был перегорожен деревянными перегородками. Поскольку на прогулку выводили все камеры одновременно, то в каждом таком отделении ходило кругами пятнадцать минут тринадцать человек в колонне по одному, держа руки за спиной и глядя в землю. Попробовал бы кто-нибудь поднять голову!

– Руки за спину! Твою фашистскую мать, куда пялишься, смотри вниз! Не кашляй, курвин сын, мать твоя сука! – это была обычная порция выражений охранников во время прогулки.

И хотя нам был необходим свежий воздух, мы были рады, когда истекали пятнадцать минут этой так называемой прогулки.

Ложиться днем запрещалось.

Нам было разрешено писать два раза в месяц. Каждому из нас выдали почтовые открытки с тем, чтобы мы сообщили адрес и попросили выслать деньги. Спустя семь дней я получил письмо от жены и фотографию дочери. Узнав, что на мое имя пришло письмо, я разволновался. Распечатав конверт, я заплакал. Через несколько дней я получил 50 рублей. В тюремном ларьке я купил немного хлеба, селедки, сахара, лука и батон колбасы. Купленные продукты делили на всех, независимо от того, были у кого деньги или нет.

Во Владимирской тюрьме, к удивлению, была прекрасная библиотека. Каждые десять дней мы могли по каталогу выбирать по одной книге. Бальзак, Достоевский, Толстой, разнообразная техническая и научная литература!

Через месяц нас посетил начальник тюрьмы. Это был грубый, крупный, физически сильный, черноволосый мужчина с висячими усами. (Вскоре после того, как был репрессирован Ежов, начальника Владимирской тюрьмы тоже арестовали и расстреляли только за то, что его на это место поставил Ежов.) На каждый наш вопрос он отвечал оскорблением. Когда сталинградский инженер-сварщик Жиленко, со взглядом, полным ненависти, попросил его найти нам какое-нибудь занятие, чтобы мы не сидели без работы, начальник тюрьмы грубо ответил:

– Мы и без вас все сделаем.

Из-за холода и плохого питания у меня расстроился желудок, начался понос, я надеялся, что болезнь пройдет сама по себе, но мне становилось все хуже. Я потребовал медицинскую помощь. Врач принимал в том же коридоре. Я сказал ему, что со мной, но он не удостоил меня ответом. Я снова обратился к нему. И снова в ответ молчание. Конвойный начал орать на меня. Это был один из самых плохих конвойных. Я выкрикнул, чтобы он оставил меня в покое, я ведь не требую ничего, кроме медицинской помощи. Конвойный растерялся. Они не привыкли, чтобы им противились. Не говоря больше ни слова, он отвел меня назад, в камеру. Я обо всем рассказал товарищам, и они единодушно заключили, что меня отправят в карцер. Но прошло несколько дней, и со мной ничего не случилось. Медсестра принесла мне лекарство и сказала, что мне прописали диету: белый хлеб, суп и компот. Медсестра была единственным человеком в тюрьме, которая вела себя по-человечески. Все к ней обращались с разными просьбами. У нее было приятное лицо и всегда при улыбке обнажались красивые зубы. Ни один лагерник, прошедший через Владимир, не мог забыть эту благородную женщину. В первый день диета была хорошей, но уже на следующий день мне не принесли белого хлеба, да досталось немного водянистой похлебки и чуть-чуть компота. Я спросил разносчика, почему он не принес мне белого хлеба.

– Ешь и молчи, – отрезал тот.

Я несколько раз стучал в дверь, требуя надзирателя, а когда он пришел, я пожаловался на плохую диету:

– Врач мне прописал диету, а я вместо супа получаю помои.

Надзиратель вместо ответа схватил меня за руку и вытащил в коридор, где меня тут же подхватил второй и заломил руку за спину. Я вскрикнул от боли. Надзиратель зажал мне рот, но мне удалось освободиться и закричать во все горло. Они отпустили меня, открыли камеру и втолкнули назад. Товарищи посоветовали мне быть умнее: нет смысла бороться со зверьем! Да я и сам это понимал, но что я мог поделать? На следующий день вместо

наказания я получил полную тарелку супа, полную кружку компота и хороший кусок белого хлеба.

Как объяснить этот поступок? Судя по всему, надзирателям и самим опротивел террор начальника и энкаведэшников.

Болезнь меня измотала. Я не мог стоять и прилег на кровать, хотя это и было запрещено. Часовой это заметил и приказал мне встать. Я объяснил ему, что я очень слаб, и попросил его сжалиться надо мной и разрешить прилечь хотя бы на десять минут. Он ничего не ответил, но позвал надзирателя и сказал ему, что я веду себя нагло и не пожелал встать, когда он мне приказал.

– Но вы же видите, что я слаб и не могу стоять беспрестанно шестнадцать часов, – обратился я к надзирателю, но тот схватил меня за руку, отвел в другой конец коридора, открыл тяжелую железную дверь и толкнул меня внутрь.

Это был карцер, подобный клетке для диких зверей в цирке. На цементном полу табурет и параша, и больше ничего. Около полуночи часовой, постоянно ходивший перед дверью карцера, бросил мне какой-то тюфяк, на котором я мог лежать до шести утра. Было холодно, я не мог заснуть. Я встал и, двигаясь, попробовал согреться. Часовой, дежуривший в эту ночь, подошел к решетке и тихо спросил, за что меня посадили в карцер. Это был пожилой человек, среднего роста, со светлыми, тронутыми сединой усами и добродушным лицом. Он зашептал:

– Послушай, браток, лучше всего тебе молчать. Это строгая тюрьма. Ты даже не знаешь, где находишься. Ты погибнешь, сынок.

Он ушел и принес мне кусочек хлеба и селедки. Я снова попробовал заснуть, но мне стало очень плохо, начало рвать. Утром мне принесли 300 г хлеба и кружку кипятка. Часовому я сказал, что я тяжело болен, этот добряк отвел меня к врачу, а тот распорядился вернуть меня в камеру.

И вот в один из дней около двухсот узников согнали в одно помещение. Мы подумали, что это обычный обыск. Однако солдаты принесли наши узлы и одежду, в которой мы прибыли во Владимир. Стало ясно, что мы покидаем этот город, это пекло!

Здесь встретились многие знакомые из Бутырки и Лубянки. Снова контроль и переключка. После этого начальник конвоя приказал нам устраиваться в грузовиках, на которых нас и везли на вокзал, где уже стояли хорошо нам знакомые вагоны. Конвой вел себя пристойно. Никто не ругал и не мучил нас. Мы спокойно разговаривали, даже тихонько пели. Когда мы спросили у начальника конвоя, куда нас везут, он ответил:

– Там вам будет лучше, чем во Владимире. Сюда пришлют тех, кто получил по двадцать пять лет. А вас отправляют в лагерь.

Мы удивились новому, 25-летнему сроку. Начальник объяснил нам, что в ноябре вступил в силу новый закон и что теперь максимальный срок наказания – 25 лет. Значит, нам повезло, мы получили всего по десятке. Другие за то же «преступление» получали уже по двадцать пять.

Так мы, спустя два с половиной месяца, расстались с Владимиром. Мы ехали двое суток. В дороге нам выдали по две банки рыбных консервов, два килограмма хлеба и 50 г сахара. На продолжительных стоянках конвойные приносили нам кипяток.

Мы приехали в Москву на Курский вокзал. Наши вагоны перегнали на ленинградскую ветку. Стало ясно, что нас повезут на север. Но куда? В Карелию? Там большие лагеря, там строится Беломорско-Балтийский канал. В лесах Карелии сотни тысяч заключенных работают на лесоповале. Поезд остановился на полпути между Ленинградом и Мурманском на станции Кемь. Нас снова загнали в тупик.

Было раннее утро. Мы сквозь окна разглядывали печальные седые окрестности. С одной стороны лес, с другой – Белое море. Рядом с рельсами стояло несколько домов, бежали

козы. Людей не было видно. Неподалеку мы заметили группу подконвойных заключенных. Это были первые заключенные, которых мы увидели. Проходя мимо нашего вагона, они заглянули внутрь. Конвоир тут же закричал. И нас это ожидает. Над серым морем пролетела чайка, возле дерева плавало толстое бревно. Вокруг стояла удивительная тишина.

На морском горизонте показалась темная точка, становившаяся все больше и ближе. Кто-то ее обругал.

Говорят, что царь Петр приказал какого-то своего придворного отправить в ссылку. Когда этого придворного спросили, куда его посылает государь, тот ответил: «К е... матери». От этого и получилось сокращенное название – Кемь.

Судно, а это было именно оно, уже приближалось к самому берегу. Мы заволновались. Уже можно было прочитать его название: С. Л. О. Н., что означало – Соловецкий лагерь особого назначения. Значит, нас отправляют на Соловецкие острова, в страшный лагерь. Начальник конвоя шел от вагона к вагону и кричал:

– Внимание, заключенные! Соберите свои вещи и будьте готовы. Предупреждаю вас, из строя не выходить ни вправо, ни влево. В каждого, кто нарушит приказ, будем стрелять.

Один за другим выходили мы из вагонов и проходили сквозь строй солдат, державших наготове автоматы. В колонне по одному мы спускались с кручи к берегу. Поодиночке поднимались на небольшой грузовой пароходик. Разместили нас в трюме, где обычно находился груз. Когда посадка закончилась, пришел начальник конвоя и начал переключку. Всего нас было около двухсот. Затем конвой оставил нас одних. Мы сели на пол, прижавшись друг к другу, как сардины в бочке. Настроение у всех было паршивое. В этой атмосфере неизвестности и страха первым заговорил Глушков, бывший первый секретарь Мурманского обкома партии:

– Ребята, всех нас побросают в море, я вас уверяю. Потопят нас вместе с этой развалиной. Уже не первый раз НКВД расправляется с заключенными таким образом. Это самое легкое. Бросил и квиты.

Некоторые, взбешенные страхом, набросились на Глушкова с кулаками, но более хладнокровным удалось их успокоить. Я склонен был поверить Глушкову.

Было слышно, как поднимали якорь. Пароход сразу закачался. Многие побледнели, послышался плач. Нам начало выворачивать утробу. Что-то с нами будет? На календаре было 2 декабря 1937 года.

Пароходик потихоньку отчалил. Берег уже успел обледенеть, и поэтому приходилось маневрировать и брать разгон, чтобы пробиться сквозь лед. Плыли мы восемь часов. Высаживали нас поодиночке. Мы поднимались по крутому берегу. Уже было темно, горел электрический свет. У небольшого домика стоял, окруженный помощниками, комендант острова, бывший по совместительству и начальником тюрьмы.

Нас принимали по одному, измеряли с головы до ног. Вели себя корректно. Никто не ругался. Напрягая зрение, я пытался хоть что-то рассмотреть в этом густом мраке. Но удалось разглядеть лишь высокие стены Соловецкого кремля. Мы были на главном острове архипелага. Когда процедура приема завершилась, нас построили в колонну по пять, открыли большие ворота и мы, в глубоком молчании, вошли в зону.

Часть II

В тюрьмах на Соловецких островах

Кремль

Соловецкие острова раскинуты в юго-западной части Белого моря, в тридцати милях восточнее Кеми на площади в 266 км². Самый крупный населенный пункт – Соловецк – основали монахи в XV веке. Там же воздвигли и первую церковь, и развили большую культурную и экономическую деятельность. В 1584 году поселение было утверждено официально, так как его нужно было защищать от врагов. С течением времени монастырь расширил свои владения, открыл соляные прииски, начал перерабатывать рыбу и развивать животноводство.

Древний монастырь и кремлевские стены стали в советское время первым и самым страшным концентрационным лагерем. Первых политических заключенных отправляли на этот главный остров. Здесь было много и бывших монахов, выполнявших самую тяжелую работу. Жили они в тех же кельях, что и раньше, в бытность свою «божьими людьми». На острове было около пятидесяти тысяч заключенных. Лишь незначительная часть жила в закрытых кельях. Большинство занималось тяжелым физическим трудом на животноводческой ферме, косили сено, которое на острове было исключительно питательным, валили густой лес, знаменитую карельскую березу, ловили для мирового рынка рыбу, известную беломорскую сельдь, а некоторые работали на большом кирпичном заводе. В 1937 году использование природных богатств на острове было прекращено, лагерь был распущен, уголовники отправлены в другие лагеря, а оставшиеся политические сидели в бывших кельях без работы. Когда в декабре 1937 года мы прибыли на Соловки, там насчитывалось 4800 узников. Эта военно-политическая тюрьма находилась под непосредственным управлением НКВД. Нас разместили в монашеских кельях в трехэтажном здании, относящемся ко второму корпусу. Это были обычные комнаты с деревянным полом, решетками вместо окон и большой земляной печью. В нашей келье поместили десять заключенных. Мы были счастливы, что избавились от владимирской тюрьмы. Нам выдали жестяные миски, горячую картофельную баланду и кусочек хлеба, затем еще порцию заправленной маргарином каши. По команде: «Готовься ко сну!» – мы легли на соломенные тюфяки, пахнущие сеном, укрылись теплыми одеялами и заснули.

В шесть утра прозвучала команда:

– Подъем!

Нас вывели в коридор, где находились умывальники. Умывались спокойно, никто нас не подгонял. На завтрак мы получили по 600 г хлеба, чай и по 9 граммов сахара. В 10 часов нас повели на прогулку на старое кладбище. Гуляли полчаса среди столетних надгробных плит, на которых были вытесаны даты жизни и смерти монахов.

На обширной территории кремля возвышалось еще шесть трех- и четырехэтажных зданий, превращенных в тюрьму. Посреди двора находилась большая церковь, где теперь располагался продуктовый склад. Там, где прежде раскаивались в грехах, стояли на коленях монахи, теперь помещались сундуки, бочки и мешки с мукой. В конце здания нашей тюрьмы была старая баня, настоящая русская парная баня.

Кормили нас неплохо: на завтрак было первое и второе – суп и каша, на ужин – одно блюдо, три раза в неделю мы получали большой кусок селедки. И режим был не особенно строгим.

В Кремле мы пробыли семь дней, после чего нас отправили на остров Муксалма, удаленный от главного острова на десять километров и связанный с Кремлем насыпью. На Муксалму мы отправились пешком, проходили мимо замерзших озер, через красивую березовую рощу, мимо брошенной фермы, на которой раньше разводили черно-бурых лисиц. Ферма была рентабельной, но ее пришлось закрыть, так как необходимо было освободить место для новых тюрем.

На Муксалму мы пришли во второй половине дня. Здесь было лишь одно большое трехэтажное здание, а в трех пристройках разместились кухня, баня и канцелярия.

Всего на архипелаге двенадцать островов¹, и на каждом из них была тюрьма.

Едва оказавшись на тюремном дворе, мы сразу поняли, что режим здесь не такой либеральный, как в Кремле. Помимо начальника тюрьмы нас встречал представитель НКВД Бардин. Мы сразу поняли, с каким человеком имеем дело. У него на лице была написана вся свирепость сталинского режима. Нас забил озноб, когда мы наблюдали всю эту картину.

Привели нас в большое пустое помещение, раздели догола, и солдаты набросились на нас с машинками для стрижки волос. Но, поскольку они не имели понятия в стрижке, драли нас так, словно хотели вместе с волосами содрать и кожу. Потом нас, голых, погнали по сорокаградусному морозу через двор в баню. Вдоль стены на штативах стояли большие железные котлы, подогреваемые огнем. Над ними клубился пар. Было жарко, как в пекле. В соседнем помещении находилось шестьдесят человек, каждый из которых получил деревянную шайку с горячей водой. Нужно было быстро намылиться и обмыться. Когда мы потребовали еще немного воды, чтобы смыть мыльную пену, охранники раскричались и приказали всем выходить на улицу. Каждому выдали арестантский костюм и белье. Нас отправили в камеру, где было восемнадцать деревянных нар с соломенными тюфяками, подушками и одеялами. Было холодно, мы долго не могли заснуть.

¹ На самом деле в Соловецком архипелаге более сотни островов, подавляющее большинство которых очень мелкие и безымянные. В данном случае Штайнер, вероятно, имеет в виду не острова, а 12 отделений и «командировок» СЛОНа, расположенных на 3-х крупных островах Соловецкого архипелага – Большом Соловецком острове, Анзере и Большом Заяцком острове. Здесь речь идет об острове Большая Муксалма.

На острове Муксалма

Так началась моя лагерная жизнь на соловецком острове Муксалма. Восемнадцать разных людей изо дня в день создавали особую атмосферу, которая порой становилась наэлектризованной. Доходило даже до желчных дискуссий, прерывавшихся иногда лишь после вмешательства охранников. Каждый носил в себе свои мысли, свои надежды и свои расчеты, но всех нас связывала ужасная судьба.

Мой старый знакомый Василий Чупраков умел своим спокойствием, терпением, добротой разряжать атмосферу нервозности и нетерпимости. Он вел себя спокойно и умиротворенно. Мареев говорил о том, что после отбытия наказания, вероятно, снова вступит в партию, а может и не вступит. А инженер Немировский, обвиненный в связях с иностранной буржуазией за то, что получал посылки с продуктами от еврейских американских организаций, рассказывал о своем детстве в Одессе. Он жил в самом бедном квартале и словно чувствовал, какая судьба его ожидает. Директор цирка с грустью смотрел на свой живот, от которого, некогда толстого, осталась лишь жалкая сморщенная кожа. За что получил десять лет тюрьмы майор Красной армии Сорокин? За то, что восхвалял Троцкого. Сломленный, замкнутый, молчаливый сидел в углу бывший секретарь ЦК комсомола Украины Железный. Жамойда, внешнеполитический редактор украинской газеты «Коммунист», с которым мы только сейчас познакомились, начинал самые острые дискуссии. Он упорно отстаивал линию партии и любой ценой пытался доказать, что в стране все в порядке. Он собрал вокруг себя несколько человек и постоянно говорил им, что каждый заключенный должен оставаться верным партии, даже если он невинно осужден. Он утверждал, что Сталин – гений и что в этом никто не смеет сомневаться. Он был склонен каждого, кто не разделял его точки зрения, выдавать НКВД.

Во время одной из дискуссий Жамойда начал бить себя кулаком в грудь и кричать, что это он облапошил этого буржуазного дурака Эдуара Эррио, вождя французских рабочих. Он рассказал о том, как в 1934 году Эррио посетил Советский Союз и во время этого визита поинтересовался, есть ли у нас свобода вероисповеданий. Для того, чтобы Эррио убедился в существовании в России свободы вероисповеданий, на скорую руку открыли несколько церквей, которые уже давным-давно были превращены в кинотеатры и склады. Одну из крупнейших киевских церквей, превращенную в пивоваренный завод, быстро освободили и две сотни рабочих тут же трудоустроили с тем, чтобы они привели церковь в порядок. В день приезда Эррио в Киев состоялось «богослужение». Сотрудники НКВД и их жены разыгрывали верующих. Жамойда исполнял роль священника, читающего проповедь. Для этих целей ему нужна была борода. Его отвели к театральному парикмахеру, который и приклеил ему красную бороду. Все прошло в лучшем свете. Эррио был восхищен. Вернувшись во Францию, он сообщил, что своими глазами видел, как в Советском Союзе на практике осуществляется свобода вероисповеданий и каждый имеет право пойти в церковь.

Когда Жамойда закончил свой рассказ, я спросил его:

– И ты считаешь, что вы правильно ломали такую комедию?

– Правильно!

– Но это же обман, божий ты человек, – крикнул я.

– Ну и что с того? Мы, коммунисты, обманули представителя иностранной буржуазии!

– Подумай сам, какой Эррио представитель буржуазии, если за него голосовали многие французские рабочие.

– Это ничего не значит. Те, которые голосовали за Эррио, являются пособниками буржуазии.

– Даже если это и так, то все равно так не делают. С религией нужно бороться не обманом, а просвещением, и никак иначе.

– Иди ты к черту! С тобой невозможно разговаривать.

Это был последний аргумент Жамойды, и дискуссия завершилась.

Все, кто не разделял его мнения, дружили со мной. Я никогда не мог понять того, что люди, прошедшие через пытки в тюрьмах НКВД и невинно осужденные, не только сами, но и вместе с женами, что такие люди защищают режим. Я разговаривал с бывшим председателем горисполкома Егоровым и просил его объяснить, что происходит с этими людьми. Егоров считал, что они говорят все это потому, что боятся, как бы не арестовали их близких и дальних родственников, оставшихся на свободе.

Внутреннее спокойствие овладевало нами лишь когда мы брали в руки книгу. В такие моменты мы забывали обо всем, что нас окружает. Здесь тоже была библиотека. Каждые десять дней каждому выдавали по одной книге. Каталога не было, поэтому не было и выбора. Все делалось просто: в камеру раз в десять дней бросали восемнадцать книг: какую хочешь, ту и выбирай.

Ничто не могло поколебать нашу монотонную жизнь. Единственной радостью были письма, но и те приходили редко, поскольку родные боялись писать. Все еще существовала опасность быть арестованным за «связь с врагом народа». Но и в тех редких письмах, которые мы получали, обычно были печальные новости: эзоповым языком сообщалось, что кто-то арестован или убит.

Лейтенант Бардин, словно призрак, бродил по коридорам, открывал глазки и наблюдал за нами, пытаясь поймать кого-нибудь за таким занятием, за которое полагалось наказание. Для этого белокурого, высокого и сильного палача существовали только запреты: нельзя было смеяться, читать вслух, ходить по камере в туфлях. Это всё были «тяжкие проступки», за которые он выдумывал различные наказания. Одних лишал прогулки, другим запрещал писать письма, третьим не разрешал покупать продукты в тюремном ларьке, четвертых отправлял в карцер.

В марте 1938 года меня перевели в камеру, где были одни иностранцы. Камера была маленькая, всего на восемь человек. Здесь я познакомился с немецким коммунистом Вернером Хиршем, правой рукой Эрнста Тельмана. Как известно, Эрнст Тельман, вождь немецких коммунистов, послушно и искренне следовал московской политике. Ему не хватало теоретических знаний и он нуждался в помощи такого человека, как Вернер Хирш, у которого было прекрасное марксистское образование. Вернер нам часто рассказывал, как он работал. Его кабинет был рядом с кабинетом Тельмана. Стоило тому только стукнуть в стену, как Вернер тут же появлялся, получал указание написать резолюцию для какого-нибудь собрания, тезисы к партийному съезду или сформулировать какое-либо заявление. Все это Вернер делал к большому удовольствию Тельмана и Москвы.

Когда Гитлер пришел к власти, Вернер Хирш эмигрировал в СССР. 4 ноября 1936 года его арестовали в Москве и осудили на десять лет.

У нас с ним много было разногласий, особенно наши взгляды расходились в вопросе о политике немецких коммунистов до прихода Гитлера к власти. Но, несмотря на это, мы стали хорошими друзьями. Это был храбрый человек, героически боровшийся с режимом террора, процветавшим на Соловецких островах. Ему не от кого было получать помощь, и я помогал ему, сколько мог. Он был страстным курильщиком, и я ежемесячно покупал ему десять пачек папирос. Будучи не совсем здоровым и быстро сдавая физически, он обратился к начальнику с просьбой давать ему больше еды, так как у него не было денег на отоваривание в ларьке. Не дождавшись ответа, он решил объявить голодовку, но через пять дней прекратил ее по моему совету, потому что это было бессмысленно. Такое средство борьбы можно использовать в цивилизованной стране, здесь же оно неэффективно.

– Ты же хорошо знаешь, что скажет врач. «Ну и подыхай!» – вот что будет ответом на твою голодовку, – говорил я ему.

И действительно, голодовка имела для него неприятные последствия. Его постоянно бросали в карцер. В целом за год (столько времени мы были с ним в одной камере) Вернер отсидел в карцере 105 дней. Это его настолько истощило, что он еле передвигался. На прогулки выходил редко. И хотя он все еще оставался приверженцем сталинского социализма, он все чаще стал предаваться мечтам о жизни в каком-нибудь тихом уголке Европы, в своем домике, отрешившись от политики. Он любил рассказывать о своей жене и ребенке, хотя об их судьбе ему ничего не было известно. Мы расстались в декабре 1938 года. Впоследствии, в каких бы тюрьмах или лагерях я ни находился, я пытался узнать о его дальнейшей судьбе, но безуспешно. Кто-то мне рассказал, что видел его в орловской тюрьме непосредственно накануне войны с Германией.

Я наблюдал за своим старым знакомым Сашей Вебером. Он сидел в углу, почти не разговаривая, постоянно читал и на все мои попытки хоть чем-то помочь ему, поскольку моя жена постоянно присылала деньги, он отвечал:

– Я не могу принимать какую бы то ни было помощь от людей, расходящихся со мной в политических взглядах.

Но время постепенно ломало его ортодоксальные позиции. Он был добрым и мягким человеком. Жена его умерла, о восьмилетнем сыне он ничего не знал.

Меня интересовал и молодой ирландец Гоулд Верскойлс, любивший философствовать о себе, о жизни, о добре и зле, о нашем положении. Когда началась гражданская война в Испании, Гоулд вступил добровольцем в республиканскую армию. В Барселоне он работал радистом на радиостанции. Он обратил внимание, как НКВД инфильтрируется в республиканскую армию и пытается занять там командные позиции. Это ему не понравилось, и он подал рапорт своему командиру, в котором заявил, что он в душе республиканец и пришел воевать добровольно, но он не является коммунистом. Он пришел воевать за Испанию республиканскую, а не сталинскую и поэтому просит его отпустить. Командир попросил потерпеть, несколько дней, пока ему подыщут замену. Через несколько дней к Гоулду подошел солдат и попросил его отремонтировать сломанную радиостанцию на судне, пришвартованном в порту. Гоулд Верскойлс взял свой инструмент и отправился в порт. Это был советский пароход. Едва он переступил порог рубки, где якобы была испорченная радиостанция, за ним закрылась дверь. Рядом с ним оказались два русских комсомольца. Пароход тут же снялся с якоря и отчалил. Остановился только в Севастополе. Комсомольцы все время охраняли Гоулда. Когда судно прибыло в советский порт, на борт поднялись сотрудники НКВД, арестовали Гоулда Верскойлса и его охранников-комсомольцев, отправили их в Москву, обвинили в шпионаже в пользу Англии и осудили каждого на восемь лет.

Сидел с нами еще один замкнутый и тихий человек – Пфайфер, бывший сотрудник ежедневной газеты советских немцев «Deutsche Central-Zeitung». В Вуппертале, в Германии он был известным деятелем компартии, очень активным и воинственным, а сейчас сидел в углу забитый и безвольный. Он был хорошим товарищем.

В нашей камере сидело еще три немецких коммуниста, приехавших в Советский Союз в качестве специалистов, но их арестовали как агентов гестапо и каждому дали по десять лет лагерей.

Тюремный режим предусматривал строгую изоляцию. Предпринимались попытки любой ценой помешать контактам между камерами. Следили за нами денно и нощно. Но нам все-таки удалось нарушить эту изоляцию. В туалете висела керосиновая лампа. Однажды мы обратили внимание, что она висит криво. Когда охранник ушел, я обыскал ее и обнаружил записку. Я быстро спрятал ее в рот. На выходе из уборной нас часто обыскивали и отбирали бумажки, которые могли быть употреблены в других целях. Вернувшись в камеру, я

направился в угол, чтобы меня не видел часовой, вынул записку и прочитал: «Дорогие товарищи, в 102-й камере находится 20 человек. Это...» – далее следовал список фамилий этих двадцати. Мы им ответили и письмецо спрятали в лампу. Таким образом мы наладили связь с еще двумя камерами. Мы оповещали друг друга о новых процессах и арестах. Это была единственная возможность узнать о том, что происходило в мире. Нам удалось достать и обрывок грязной газеты, которую, вероятно, охранник выбросил в уборную. Прочитав этот обрывок, мы узнали, что русские бьются с японцами на озере Хасан. Наша связь функционировала хорошо, пока однажды, после оправки, нас не раздели догола и основательно обыскали. Естественно, у меня нашли записку, написанную в соседней камере. Отвели меня к Бардину. Тот начал допытываться, откуда у меня эта записка.

– Я нашел ее в туалете, – ответил я.

Бардин мне не поверил. Он дал мне двойную дозу карцера в десять дней. Ни один сотрудник НКВД не мог отправить в карцер больше, чем на пять дней, для этого нужно получить разрешение «сверху». Но Бардин вышел и из этого положения. Он оштрафовал меня сначала на пять дней, потом на день перевел меня в камеру, после чего снова отправил в карцер на пять дней. Зверь! После этого наша связь с соседними камерами прервалась.

По возвращении из карцера товарищи сообщили мне, что на мое имя пришел денежный перевод на сто рублей. Я долгое время не имел известий от жены, и это меня очень обрадовало. Это было верным доказательством того, что жена оставалась на свободе. Когда в нашей камере появился надзиратель, я спросил его, получил ли он почтовый перевод на сто рублей, который пришел во время моего отсутствия.

– Не было для вас никаких денег, – ответил он.

Стало ясно, что деньги вернули жене и что все это подстроил мне Бардин. Прошло немало времени прежде, чем я получил письмо от жены и фотографию дочери. Жена написала, что ребенок заболел и умер. Я сел в угол без единой мысли. Это письмо вручили мне очень быстро, ни на минуту не задерживая на цензуре. Об этом также позаботился Бардин. Это было последнее письмо, которое я получил от жены на Соловках.

Бардин ежедневно выдумывал новые пакости. Он уже не знал, что бы еще такое придумать. Однажды он приказал проветривать камеры только два раза в день по пятнадцать минут в присутствии охранника. Заключенным запрещалось открывать окна. В камере стояла невыносимая жара, одежду снимать не разрешалось. Мы купались в поту, все промокли до костей. Все наши просьбы продлить проветривание ни к чему не приводили. От этой духоты люди теряли сознание. Я решил что-то предпринять. Когда пришло время идти на прогулку, я сказал охраннику, что болен, и попросил его оставить меня в камере. Оставшись один, я схватил питьевой бачок и бросил его в окно. Два стекла разбились вдребезги. В гробовой тишине, царившей на острове, это прозвучало, как настоящий взрыв. В камеру ворвалось пятнадцать надзирателей. Они набросились на меня. Каждый ухватился за одну из частей моего тела, и таким образом они отволокли меня в карцер. Спустя два часа меня привели к Бардину. Он сидел перед письменным столом, расставив ноги и опершись руками о колени. Едва я вошел, он заорал:

– Вы что это, восстание готовите, а?

Я удивленно посмотрел на него.

– Говорите, признавайтесь, я все знаю!

– О чем это вы, простите? Какое восстание?

– Какое восстание? Да вы же дали сигнал к восстанию. Или сейчас же во всем сознайтесь, или вас сегодня же отправят на Секирную Гору, – угрожал Бардин.

Каждые раз, когда у нас были стычки с охраной, они грозились послать нас на Секирную Гору. На этом удаленном островке были лишь маяк и один часовой. Там заключенных убивали, а трупы бросали в море.

– Вы можете делать со мной, что хотите, на то у вас и власть. Но я вас уверяю, что никакого сигнала ни к какому восстанию я не давал. Просто я не желал задыхаться в камере, я хотел воздуха, которого вы нас лишаете, – ответил я Бардину.

Довольно долго еще мы с ним так беседовали. Он хотел, чтобы я признался в том, что подал сигнал к восстанию. Когда же ему надоела подобная перебранка, он составил протокол о том, что случилось, и снова отправил меня в карцер. Через пять дней я вернулся в камеру. Все были рады, что я так легко отделался. Они ожидали худшего. Благодаря этому инциденту нам разрешили открывать верхние окна, когда мы сочтем нужным. Вебер подошел ко мне и сильно сжал мою руку.

Прошло три месяца. Однажды ночью меня разбудил надзиратель и приказал одеваться. Все, с испугом в глазах, провожали меня. Я решил, что пришел мой последний час. Как раз в это время проходил процесс над Бухариным, Рыковым и Пятаковым². Массовый террор приобрел страшные размеры. В тюрьмах и лагерях расстреливали десятки тысяч людей. Вывели меня во двор. Там стоял грузовик, а рядом начальник тюрьмы и несколько солдат. Мне приказали подниматься в грузовик. Четыре автоматчика заставили меня лечь на пол и накрыли меня брезентом. В дороге я думал о своей жене, столько всего натерпевшейся из-за меня. Сначала умерла дочка, а теперь она узнает еще и о моей смерти. Конечно, ей сообщат, что я заболел и умер. Да все равно, что ей скажут, главное, что она снова будет страдать. Я попытался сделать вид, что мне все безразлично, но это было нелегко. Воля к жизни была сильней. Я прокручивал весь путь к Секирной Горе – мы должны проехать мимо Кремля, затем пересесть на моторную лодку. Но как меня в такой темноте повезут по морю? Это невозможно. Впрочем, меня могут просто-напросто выбросить в море. Зачем меня так далеко везти? Пока я обо всем этом думал, мы приехали в Кремль. Конвойный поднял брезент и крикнул:

– Встать!

Я не шелохнулся.

– Вставай, сучий сын!

Я не мог подняться.

– Эй, ты! Что с тобой? Ты что, околел? – кричал солдат.

Я молчал. Тогда солдаты взяли меня за ноги и за голову и сбросили с машины. Один из них схватил меня за воротник и поволок, словно мешок, в какое-то здание, где и бросил на пол. Я лежал неподвижно с закрытыми глазами, ни о чем не думая, пытаюсь заснуть. Был уже день, когда меня разбудили. Передо мной стоял тот самый начальник тюрьмы, который принимал нас в 1937 году. В руке он держал лист бумаги, на котором было написано решение Главного Управления тюрем в Москве, осудившее меня за хулиганство, проявившееся в том, что я разбил два оконных стекла и оскорбил представителя НКВД. Меня приговорили к двадцати дням карцера и оштрафовали на 44 рубля за разбитые окна. Меня заставили подписать этот приговор. После этого меня отвели на первый этаж IV корпуса, в коридор, где располагалось двадцать камер. Раздели до нижнего белья. Вместо ботинок обули в лапти и посадили в карцер. В карцер можно было войти только на карачках через нижнее отверстие железной решетки. Каменный пол, окон не было, над решеткой круглые сутки горела слабая электрическая лампочка. В камере было очень влажно и холодно, чтобы не замерзнуть, приходилось постоянно двигаться и делать руками гимнастические упражнения. Но я устал довольно быстро. Утром часовой принес мне паек на целый день: 300 г хлеба и котелок кипятка. От кипятка я настолько согрелся, что спина взмокла. Каждый пятый день я получал

² Автор здесь путает разные процессы. В описываемый период проходил процесс над Бухариным и Рыковым. Пятакова с товарищами судили ранее.

литр баланды. Ночью на узких нарах невозможно было согреться. Приходилось натягивать на голову рубашку и согреваться собственным дыханием.

– Это что еще за пугало? – вдруг услышал я голос Бардина у двери карцера.

– Мне холодно, поэтому я, чтобы хоть немного согреться, и натянул рубашку на голову, – ответил я.

– Для этого вас и посадили в карцер. Опустите рубашку или я вас раздену догола, – закричал он.

Прошло уже одиннадцать дней моего пребывания в карцере. Меня посетили начальник тюрьмы, полковники и генералы НКВД. Это была какая-то комиссия. Меня спросили, за что я оштрафован. Я рассказал им все, излил свою душу. Я сказал им, что я – иностранный коммунист, что я за границей сидел в тюрьмах за коммунистическую деятельность, но нигде не видел ничего подобного. В этой тюрьме царит неслыханный террор.

– Хорошо, хорошо, мы во всем разберемся, – ответил какой-то генерал и посоветовал мне больше не нарушать тюремный режим.

Мне стало легче, когда они ушли. Я излил на них весь свой гнев, сказал им в лицо всю правду. Спустя несколько часов меня перевели в другую камеру в том же коридоре. Она была в два раза больше, там было небольшое окошко и деревянный пол. Здесь я провел остаток наказания. Все же пошло на пользу то, что я им высказал.

Двадцать дней прошли, но за мной никто не приходил. Я постучал. Дежурил в тот день самый плохой надзиратель. Принося мне котелок кипятка и стараясь хоть чем-то напако-стить, он наливал в него холодной воды. Он спросил, почему я стучу. Я объяснил, что мой срок истек.

– Хорошо, перестаньте стучать, – сказал он.

Это меня настолько вывело из себя, что я начал кричать.

– Не ори, а то надену на тебя смирительную рубашку.

Я начал еще громче кричать и стучать, требуя освободить меня. Это услышал дежур-ный офицер и спросил, в чем дело. Я ему все объяснил.

– Потерпите немного, я посмотрю, что можно сделать.

Офицер вскоре вернулся, принес мне порцию баланды и кусок хлеба.

– Ешьте! В управлении уже никого нет. Но я обязательно выясню, почему мне не пере-дали распоряжение выпустить вас.

Этой же ночью он перевел меня из карцера в восьмиместную камеру на третьем этаже этого же здания. Указав на заправленную койку, покрытую одеялом, произнес:

– Ложитесь здесь и спите.

Во сне я почувствовал, что меня кто-то толкает. Открыв глаза, я увидел около себя все того же офицера. Он приказал мне одеваться. Я глянул в окно – на улице было по-прежнему темно.

– Почему вы мне не даете спать?

– У вас еще будет время выспаться, – ответил он и отвел меня в то же здание, где мне было сообщено о наказании за разбитые окна. Передавая меня конвойному, он сказал:

– Вот это твой. Веди его!

Прояснилось и то, почему меня своевременно не выпустили из карцера. В кремлев-ском карцере я был «чужаком» и ни одному черту не было до меня никакого дела, а на Мук-салме забыли о том, что я существую. Если бы я энергично не потребовал освобождения, неизвестно, сколько бы еще пришлось мне торчать в этом карцере.

– Но что это с тобой? Ты сейчас не похож на человека: зарос, весь грязный, – удивлялся конвоир.

Я молчал.

– Ладно, пошли.

Во дворе нас ждала подвода. Я вынужден был лечь, конвоир накрыл меня сверху брезентом. Меня удивило, что мой конвоир без оружия. Ехали мы медленно, остановились на полпути. Конвоир отбросил с моей головы брезент и сочувственно спросил, как я себя чувствую и голоден ли я. От удивления, что со мной обращаются так по-человечески, я не смог произнести ни слова.

– На вот тебе, ешь, – протянул он мне большой кусок хлеба.

Я стал есть. Слезы капали на хлеб. И так я сидел до тех пор, пока не показалась Муксалма. Конвоир снова обратился ко мне:

– А теперь, браток, ты должен лечь. Если нас увидят, то меня по головке не погладят.

Я оказался в своей старой камере. Мои товарищи как раз были в уборной. Вернувшись, они увидели новичка. Как только надзиратель закрыл дверь, они уже собрались было обратиться ко мне с обычными для новичка вопросами, но тут все узнали меня. Это их ошеломило. Лицо мое осунулось, заросло растительностью, к тому же я был грязен с головы до ног. В карцере я не получил ни капли воды для умывания, ноги у меня отекали, стали похожими на слоновьи. В это время все начали делить завтрак, каждый отломил от своего куска для меня. Я отказался, рассказав им, что мне попался исключительно добрый конвоир, накормивший меня хлебом. Узнав, что я был в карцере, они поведали мне о своих предположениях относительно моего местопребывания. Большинство думало, что меня отвезли на Секирную Гору и там уколошили, другие же предполагали, что мне разрешили вернуться на родину. Их предположения меня несколько не удивили. Каждый заключенный склонен мыслить экстремально: вопрос решается просто – или жизнь, или смерть.

Смерть Станко Драгича

Еще в тот же день меня перевели в Кремль. Но прежде сводили в баню, где я помылся, побрился и постригся. Я оказался в маленькой трехместной камере. Моими новыми товарищами стали югославы.

Станко Драгича я знал очень хорошо. Я познакомился с ним в 1923 году в Загребе, когда он работал старшим мастером на обувной фабрике на Завртнице. В его цехе собирались члены нелегального союза коммунистической молодежи. Он был революционером-фанатиком. Родом из Боснии, из Жепча. Это человек необузданного темперамента, за словом в карман не лезущий, постоянно находившийся в движении, всегда заставлявший товарищей действовать и радовавшийся даже минимальному успеху. У этого человека не было личной жизни, все свое время он посвящал революционному рабочему движению. Из-за постоянной полицейской слежки он вынужден был в 1927 году покинуть Югославию. Долгое время он жил в Москве и учился в Университете западных народов. Это учебное заведение было предназначено для функционеров западных компартий. Многих слушателей университета, в том числе и Драгича, арестовали. Осудили на три года. В тот день, когда он должен был выйти на свободу, ему сообщили, что та же тройка НКВД прибавила ему к сроку еще три года. Драгич постоянно протестовал против этого ужасного беззакония и, конечно, постоянно получал все новые тяжелые дисциплинарные наказания. Это был человек с сильно развитым чувством сопротивления.

Теперь его черные горящие глаза погасли. Я узнал его с трудом. Он постоянно жаловался на боли в желудке, почти ничего не мог есть. Он выпивал немного баланды и чая, и закусывал небольшим кусочком хлеба. За его поведение в тюрьме энкавэдэшники пригрозили ему, что он закончит свою жизнь на Секирной Горе. Но, несмотря на сильное физическое истощение, он не сдавался. Его беспокойный дух оставался активным. Я пытался образумить его всеми возможными способами.

– Они убьют тебя.

– Мне все равно. Лучше честно умереть, чем жить по-собачьи, – процедил он сквозь зубы.

В декабре 1938 года ему сообщили, что ему добавили еще три года. Офицера, зачитавшего ему этот приговор, он обругал самыми последними словами. За это ему пришлось заплатить десятью днями карцера. Он вернулся взбешенный, поднялся к окну и закричал во все горло:

– Товарищи! Если кто-нибудь когда-нибудь выйдет на свободу, пусть расскажет, что югославский коммунист Драгич пострадал невинно и его, ни в чем не повинного, пытали.

Прибежали начальник тюрьмы Корчков, Бардин и два охранника. Драгичу надели наручники и увели.

– Прощайте, товарищи! – были его последние слова.

Его отправили на Секирную Гору, убили и сбросили в море.

Другой югославский коммунист, Антун (фамилию его я забыл), вынужден был эмигрировать из Югославии в 1920 году. Он родился в Словении, на вид ему было лет пятьдесят. Был он среднего роста, худ, седоват, смугл. Его арестовали в Харькове в 1937 году и осудили на десять лет за «контрреволюционную агитацию». Мы еще раз встретимся в Норильске. Я не знаю, как его убили. Это был отважный человек.

На освободившееся место Драгича в нашу камеру прислали американца Лайталу. Он около двух лет работал в качестве иностранного специалиста на большом предприятии металлических изделий в Петрозаводске. Как-то раз он решил поохотиться близ советско-финской границы, но там его арестовали русские пограничники. Его обвинили в шпи-

онаже. Во время следствия он требовал, чтобы обо всем этом сообщили в американское посольство. Конечно, ему пообещали. Его приговорили к пяти годам лагерей и отправили на Соловки. Спустя два года он с двумя товарищами решил бежать. Им удалось найти рыбацкую лодку. Дождавшись темноты, они поплыли к берегу. Море было очень беспокойным, грести пришлось долго. Лишь перед рассветом они оказались на берегу и думали, что достигли свободы. Укрывшись в кустах, чтобы немного отдохнуть, они стали рассуждать, в каком направлении следует двигаться, чтобы быстрее добраться до финской границы. Вдруг послышался собачий лай. Они побежали в лес. Одного схватили сразу. Двое остальных остановились лишь в двух километрах от финской границы – хотели перейти ее ночью. Проползая на животе еще метров двести, они слышали шум ручья, и решили, что на другом берегу уже территория Финляндии. Но тут в ста метрах от себя они заметили идущих им навстречу двух русских пограничников с собакой. Пограничники освещали путь фонариками. Беглецы бросились к ручью. Пограничники их заметили и спустили с поводка собаку. Перепрыгнув ручей, они оказались на финской территории. Но собака успела прыгнуть на Лайталу и сбила его с ног. А второму беглецу удалось бежать. Лайталу связали и сдали на ближайшую заставу. Пограничная застава была оповещена об их побеге и устроила им засаду. На следующий день Лайталу привели к руководству погранотряда. Там его страшно избили. Лайтала показал мне рот, в котором отсутствовали передние зубы. В тот же день его привезли в кемскую тюрьму, а оттуда перебросили пароходом на острова. Его заключили в кремль. Однажды его вывели в кремлевский двор, а вокруг собрали всех заключенных.

Приговор гласил: смерть за попытку к бегству. Этот приговор должен был утратить заключенных. По всему лагерю сообщили, что приговор приведен в исполнение. Однако оба беглеца отделались десятью годами тюрьмы.

Расстрел монахинь

Лайтала знал много историй. Он как-то встретил украинского крестьянина Гнитецкого, работавшего на лесоповале в Карелии. Лагерный режим был таким свирепым, что некоторые лагерники в полном отчаянии отрезали себе пальцы, вставляли их в ствол дерева с надеждой хотя бы таким образом избавиться от ужаса. Этот лес предназначался для вывоза в Англию.

– Страшную картину наблюдал я на Соловецком острове в 1935 году, – начал Лайтала. – Около трехсот монахинь, принадлежавших к разным религиозным сектам, оказались на острове в тюрьме. Их хотели заставить работать. Они упорно отказывались от любой работы, кроме одной. Они желали быть санитарками в лагерной больнице. Но управление не соглашалось на это и наказывало их карцером. Каждые десять дней их выводили из карцера и спрашивали, готовы ли они выйти на работу. Они снова отказывались, и их снова отправляли в карцер. Однажды их перевели на Муксалму для работы на животноводческой ферме.

– На антихриста работать не будем, – ответили монахини.

Тогда их вывели во двор, построили и собрали всех заключенных. Начальник лагеря вытащил револьвер и подошел к стоявшей в первом ряду монахине.

– Будешь работать?

– На антихриста работать не буду, – ответила та.

Раздался выстрел. Монахиня упала замертво. Остальные монахини опустили на колени и стали молиться богу. Начальник подошел к следующей. Задал тот же вопрос и получил тот же ответ. Снова раздался выстрел, и снова монахиня упала замертво. Так повторялось до тех пор, пока у него не кончились патроны.

– Проклятые курвы! Я всех вас отправлю к вашему богу! – кричал начальник.

Монахини же продолжали стоять на коленях и громко молиться. Тогда начальник приказал группе энкавэдэшников снять винтовки с предохранителя.

– Суки вонючие, будете работать? – повторил он свой вопрос.

Монахини продолжали молиться. Все громче. И тут прозвучала команда:

– Огонь!

Раздался залп.

Когда упала последняя монахиня, начальник подошел к заключенным и произнес речь.

– На советской земле нет места паразитам. С теми, кто не хочет работать, поступят так же, как с этими, – заключил он.

После этого он приказал группе заключенных выкопать несколько ям и сбросить в них трупы монахинь.

После такого рассказа Лайталы мы не могли заснуть. Ведь все это произошло здесь, на том же месте, где мы сейчас находимся.

Нам приказали потесниться, так как в нашу маленькую камеру должны привести еще двух заключенных, выписанных из больницы. Вошли два невысоких, светловолосых и атлетически сложенных парня. Мы сразу же поинтересовались, кто они. Это были два брата-финна, дровосеки. В Финляндии они являлись членами нелегальной молодежной коммунистической организации. По разрешению своего руководства они бежали в Россию. Удачно перешли финскую границу, но тут же попали в руки русских пограничников. На пограничной заставе их обвинили в том, что они шпионы и диверсанты. Они показали секретное письмо, написанное на полотне, в котором значилось, что они отбывают в Россию по приказу коммунистического молодежного союза Финляндии. Это не помогло. Их били круглые сутки, пока они не «признались», что прибыли в Советский Союз по приказу финской военной разведслужбы с целью проведения диверсионных актов. После этого их отправили в Петрозаводск в тюрьму НКВД. От них требовали, чтобы они рассказали, какое задание они

получили от финляндского Генштаба. Братья заявили, что предыдущие признания выбиты из них пытками и что они не являются никакими диверсантами. На это следовали новые побои до тех пор, пока они не подписали, что их первые показания на пограничной заставе правдивы и даны добровольно. Их осудили на восемь лет. Измученные и голодные, они заболели так тяжело, что их вынуждены были положить в больницу. Обращение с ними врача было бесчеловечным. Несколько раз они пытались добиться выписки из больницы. Но им отказывали. Лежали они там три недели. За это время в одной их палате, где стояло тридцать коек, умерло 84 человека. Редко кто из заключенных возвращался в камеру здоровым. В этой больнице лекарств не было вообще, а на все случаи были лишь болеутоляющие средства. Врачи были грубыми, сестры ненамного лучше.

Симпатичным молодым людям мы дали немного сахара, так как они очень мало ели. Обычно им хватало немного водянистой баланды и корочки хлеба. Они упорно отказывались от медицинской помощи – боялись больницы. Но младшему брату с каждым днем становилось все хуже. Наконец пришел врач, выслушал юношу, очень плохо говорившего по-русски, и даже не осмотрел его. Сказал лишь:

– Я вам выпишу порошок.

На следующий день медсестра принесла порошок, но, поскольку ей нельзя было входить в камеру, она просунула его в кормушку на двери. Финн был настолько слаб, что едва дополз до двери, лег на спину, а сестра сыпала ему порошок в рот через эту кормушку. Его пришлось снова отправить в больницу. Больше он не вернулся.

Месяц за месяцем проходили серо и монотонно. Мы вслушивались в крики чаек, для нас это были звуки с воли.

Но однажды и чайки замолчали. Они исчезли бесследно. Поначалу мы не знали, что произошло. Оказалось, из Москвы приезжала какая-то комиссия, и одному из ее членов пришло на ум, что заключенные с помощью чаек посылают письма. Комиссия приказала уничтожить всех чаек, живших здесь тысячелетиями. Только после этого мы вспомнили продолжавшуюся несколько дней стрельбу. Мы тогда подумали, что это маневры. Но это энкавэдэшники расстреливали контрреволюционных чаек.

Весной 1939 года произошло переселение камер. Благодаря этому я познакомился с бывшим секретарем компартии Западной Украины Иосифом Крилыком. Крилык вынужден был в 1930 году бежать из Польши. Он поселился в Харькове и Киеве и оттуда руководил работой компартии Западной Украины, находившейся в Польше на нелегальном положении. В 1934 году покончил с собой лидер украинских коммунистов Скрыпник³, которого должны были вскоре арестовать за «националистический уклон». Украина переживала страшные дни. В полном разгаре были массовые аресты. Больше всего пострадало украинцев, бежавших с украинских земель, принадлежавших Польше. Так арестовали и Крилыка. В тюрьме у него произошло кровоизлияние, и вся левая часть тела оказалась парализованной.

Этот человек много страдал, был очень нервным и постоянно ссорился с тюремным начальством. Мы обнаружили в хлебе живых червей. Крилык выразил решительный протест. Его вытащили из камеры, и больше мы его никогда не видели. Он оставил после себя несколько папирос и зубную щетку⁴.

* * *

В мае 1939 года медицинская комиссия провела среди нас основательный осмотр.

³ Н.А. Скрыпник, член ЦК ВКП(б), ВЦИК СССР и Президиума ЦИК СССР покончил с собой в 1933 году.

⁴ Иосиф Васильевич Крилык был расстрелян в Орловской тюрьме 11 сентября 1941 года вместе с 157 политическими заключенными.

Что случилось? Впервые врачи веда себя с нами по-человечески, как и положено врачам. Изменилось поведение и тюремного начальства. К нам перестали придираяться. Прогулки стали продолжительнее, мы могли тихо переговариваться. Бардин куда-то исчез. Что-то должно было произойти.

Но что?

Каждое утро мы слышали, как по двору ходят большие группы заключенных, возвращавшиеся только к вечеру. Мы наблюдали за ними в окна и установили, что одна подобная группа, численностью около ста человек, утром промаршировала по двору, а вечером вернулась назад. Вероятно, они где-то работают. Но почему тогда нас не водят на работу? Позднее мы узнали, что иностранцев привлекать к работам не хотели.

Через три месяца, в начале августа, открыли наши камеры и сказали, что мы можем выйти во двор. Мы просто не поверили этому. Во дворе мы встретили старых товарищей из московских тюрем, из Владимира, из соловецкого кремля. Я снова увидел Чупракова, Мареева, Морозова, Вебера и других. В это время поджидала меня и большая неожиданность. Я встретил двух своих старых знакомых – Йозефа Бергера, с которым познакомился в Вене в 1926 году, когда он был одним из руководящих работников Коминтерна, и Рудольфа Ондрачека, известного австрийского коммуниста. Наши старые знакомые рассказали нам, что означает эта активность заключенных и эти медицинские комиссии. Мы все обязаны пройти медкомиссию для того, чтобы работать на острове, где строились казарма, аэродром, электростанция, больница и другие объекты. Было ясно, что все эти объекты возводились в военных целях. Советское правительство готовилось к войне со своим соседом – Финляндией. Поэтому все правительственные заявления о том, что русско-финская война была спровоцирована Финляндией и что русские патрули обстреливались финскими пушками, являются детскими сказками.

В соловецком кремле жизнь изменилась. Мы могли свободно передвигаться, нас закрывали только вечером. Целыми днями мы дышали свежим воздухом. К нам постоянно прибывали новые группы с других островов.

– Откуда прибыли, товарищи?

– Мы с Заяцких островов, а мы с Пёсьих! – слышались ответы.

Но с острова Секирная Гора не было никого. Всего собралось около четырех тысяч заключенных. Со складов вытаскивали нашу гражданскую одежду. Начался хаос. Один нес свой чемодан, другие какие-то узлы, каждый стремился поскорее снять свою арестантскую робу и одеться в штатское. Заключенные собирались группами и рассказывали друг другу обо всем пережитом. Все ожили, хотя и чувствовали, что эта передышка будет короткой. Чувствовали, что всем нам предстоит дальняя дорога. Но куда? В тюрьму? В лагерь?

Эвакуация с Соловецких островов

В три часа ночи 3 августа раздалась команда:

– Подъем!

Заключенные вышли из своих камер и собрались на большом подворье кремля. Здесь уже находились офицеры НКВД во главе с начальником тюрьмы Корочковым.

– Внимание! – крикнул Корочков. – Заклученные, сейчас вы покинете остров. Вы будете переведены в другое место. Я обращаю ваше внимание, что по дороге в порт и во время транспортировки вы должны вести себя дисциплинированно. Все приказания конвоя следует выполнять беспрекословно. Конвой получил приказ стрелять, если кто-то попытается бежать. Все понятно?

Мертвая тишина.

– Внимание! Вещи в руки, в колонну по пять становись! Шагом марш!

Четыре тысячи восемьсот человек двинулись под конвоем хорошо вооруженных солдат. Были слышны лишь тупые и неравномерные шаги заключенных и лай караульных собак на поводках. Кто-то попробовал повернуть голову и бросить последний взгляд на остров, где он провел столько трудных лет. Но конвоиры тут же закричали и стали угрожать. В порту мы сели, не нарушая своих рядов. Появился офицер с целым ворохом списков. Тут же второй рядом с ним стал выкрикивать фамилии. Названный выходил, отвечал на несколько вопросов и становился в нескольких метрах в стороне. Набрав таким образом группу в двести человек, их посадили в лодки, затем на катер, который и доставлял всех на большое грузовое судно. Операция погрузки продолжалась несколько часов. В самом конце переправили и группу женщин, числом около семисот, находившихся на одном из островов. Большое океанское грузовое судно, предназначенное для перевозки с Крайнего Севера на Запад древесины, носило имя советского маршала Буденного. Сейчас оно должно было везти другой груз. Внутри сухогруз был разделен на шесть отсеков, связанных между собой деревянными трапами. В этих очень низких отсеках установили нары, добраться до которых можно было лишь ползком. В каждом отсеке, в одном и том же проходе стояли параша. В каютах сидели конвойные, а в других помещениях находилась кухня. В центре верхней палубы была большая башня, внутри которой сидела охрана с пулеметом.

Я попал в восьмую группу. Когда я начал спускаться под палубу, я услышал крики моих старых товарищей, чтобы я занял им место. Я устроился рядом с Рудольфом Ондрачек и стал разглядывать внутренности корабля, показавшегося мне необычайно большим. Ложиться не хотелось. Было интересно наблюдать, как прибывают все новые группы. Пространство заполнялось человеческими телами. Нам казалось, что оно способно проглотить всю человеческую массу, но на деле оказалось, что оно слишком мало, чтобы принять всех. Последние группы часами ждали, пока мы не потеснимся. Вокруг всё гудело, как в улье. Люди пытались перемещаться, ища либо знакомого либо более удачное место. Прошло немало времени прежде, чем утроба корабля насытилась.

На следующий день судно снялось с якоря.

Куда нас везут?

В неизвестность!

До сих пор никто не думал о еде. Но теперь люди начали развязывать свои узлы, служившие им одновременно и подушками, доставать паек, полученный на Соловках, затем сухари и один-два кусочка сахара. Нам объявили, что горячую пищу мы получим только завтра. Мы собрались в кружок – я, Йозеф Бергер, Рудольф Ондрачек, Василий Чупраков и Глазунов (ныне известный физик) – и стали говорить обо всем, что мы пережили в последние годы, и размышлять о том, что нас ожидает.

Мы поняли, что предстоит долгая дорога, значит, у нас есть время. За последние два года, проведенные в разных отделениях и в разных камерах, мы сильно изменились. Многие физически ослабли, исхудали, но самыми интересными были изменения, происшедшие в человеческих головах. Во время следствия большинство не относилось враждебно к сталинскому режиму. Некоторые полагали, что аресты миллионов людей являются следствием каких-то интриг врагов советской власти; другие были убеждены в том, что это временные меры, что это фильтрация, через которую должны пройти и невинные. Были и такие, которые верили, что все это делается в интересах народа и поэтому любая жертва оправдана и полезна. Различными были и толкования абсурдных и свирепых сталинских мер, но все были единодушны в одном:

– Не пройдет и нескольких месяцев, как все мы вернемся в родные дома!

Лишь очень небольшое число заключенных понимало, что все надежды напрасны. Сейчас, спустя всего лишь несколько лет, когда больше не было никаких надежд выйти на свободу и когда все двигались в неизвестном направлении через покрытую льдами морскую пучину, всё выглядело иначе. Многим только теперь удалось разглядеть весь ужас их настоящего положения. Им казалось, что они пребывают в жутком, кошмарном, сумасшедшем сне.

Был среди нас и Сергей Егоров, бывший председатель Сталинградского горсовета. Пока мы с ним сидели в Лефортовской тюрьме, Егоров думал, что все, что с нами происходит, – жизненно необходимо. Даже и то, что произошло с ним. Председателем Сталинградского облисполкома был Кузнецов, который до назначения на эту должность был генеральным директором Маньчжурской железной дороги. Когда же эту железную дорогу продали японцам, Кузнецова перевели в Сталинград. Вместе с ним работал и Егоров. Кузнецова арестовали и вынесли ему смертный приговор как японскому шпиону. Егоров считал совершенно нормальным то, что подозрение пало и на него, так как он был ближайшим сотрудником Кузнецова. Но в то же время он был уверен, что его скоро выпустят на свободу и тогда он будет пользоваться еще большим уважением.

Увидев меня на корабле, Егоров очень развеселился, хотя прежде не любил ни с кем разговаривать. Он считал меня «врагом народа».

– Ну, здравствуй, Егоров. Ты все еще здесь? – спросил я.

– Как видишь.

– Но ты же говорил, что тебя вскоре выпустят на свободу.

– Карл, прав оказался ты, а не я.

– И как же ты пришел к такому выводу? – любопытно спросил я.

– Мне теперь кажется, что нас арестовали контрреволюционеры во главе со Сталиным.

– Bravo, поздравляю! – развеселил меня его вывод.

– В течение этих двух лет во Владимире и на Соловках у меня было много времени для раздумий.

– Я надеюсь, теперь ты понял, что социализм Сталина очень смахивает на национализм Гитлера?

– Я согласен, что это не социализм, но объясни мне такую вещь: как тогда назвать наш порядок, в котором отсутствует частный капитал, – Егоров посмотрел на меня в ожидании ответа.

– Знаешь, когда подобный вопрос задали вождю русских меньшевиков Дану, жившему после Октябрьской революции в Берлине, он ответил: «Сам черт в этом ногу сломит!»

На корабле я познакомился с человеком, который, в отличие от всех остальных, декларировал себя врагом советской власти. Такие люди действительно встречались очень редко. Это был бывший капитан царской армии Савченко, один из немногих оставшихся в живых офицеров царской армии. Его держали в тюрьмах и лагерях с 1927 года. В 1937 году он отсидел последний свой пятилетний лагерный срок, но по дороге домой, на Украину, его сняли

с поезда и в тюрьме в Котласе снова приговорили к десяти годам тюрьмы. Однако Савченко всегда пребывал в прекрасном настроении. Он постоянно повторял, что его весьма радует и делает ему честь тот факт, что он сидит в тюрьме с таким количеством коммунистов.

Плавание на корабле с каждым днем становилось все невыносимее. Даже животных так не транспортируют.

Мы лежали на голых влажных досках, нужду справляли в парашах. На судне было для нас два туалета, но, чтобы попасть туда, нужно было отстоять шесть часов в очереди. Однажды мне удалось пробиться на верхнюю палубу. Передо мной раскинулась необозримая серая масса воды, и корабль казался скорлупкой в этом безграничном море.

Самым мучительным для нас была нехватка питьевой воды. Судно не было приспособлено для принятия большого количества воды. Нескольких цистерн хватало лишь для того, чтобы раз в день получать что-то варёное. Конвойные пили воды столько, сколько хотели, нам же доставалось очень мало, а жажда была ужасной. Когда нам сквозь отверстие спускали большой жестяной котел с водой, начиналась драка. Воду разливали. Самым сильным удавалось хоть немного напиться. Нас мучила страшная жажда, потому что кормили, в основном, соленой рыбой и сухарями. Началась дизентерия. Когда нам все-таки дали кое-какую теплую баланду, оказалось, что она приготовлена из прокисших овощей и гороха да еще в проржавевшем котле. Баланда была водянистой и недоваренной. Один такой котел был рассчитан на десять человек. Конечно, лучше всего себя чувствовали те, кто ел быстро. У многих началась морская болезнь, и они по нескольку дней ничего не ели. Параша не убиралась сутками. Их содержимое разливалось по полу. Стояла невыносимая вонь. Протестами и криками нам с трудом удалось добиться того, чтобы эти вонючие параша убирали каждый день. Из-за таких ужасных условий часть заключенных тяжело заболела. Уже с первых дней трупы наших товарищей стали выбрасывать в серое море.

Во время остановки в Мурманске и без того переполненное судно было пополнено еще тремястами уголовниками. Едва успев ступить на палубу, они начали грабить и воровать. Лишь немногие возмущались и защищались. Люди были настолько измождены и больны, что им было все равно, что с ними делают. Но некоторые все-таки сопротивлялись. Доходило до драк. Бандиты вынимали ножи. Появились тяжелораненые. И все-таки нам удалось умирить эту банду.

Охранники вели себя пассивно, словно это их совершенно не касалось. Уголовники быстро нашли выход из положения. Они обнаружили, что на дне судна есть трюм, в котором были продукты, предназначенные для Крайнего Севера. Они пробрались в этот трюм и вытащили оттуда молочные консервы, кексы и шоколад. Разбившись на группы, они все это поедали. На шестой день пути начался сильный шторм. Казалось, что настал наш конец. Волны были огромными, вода заливала все помещения корабля. Те, кто лежал у самого выхода, промокли насквозь и вынуждены были искать новое место. Стихия бушевала два дня. Корабль с трудом продвигался вперед. В это время ничего не готовили, мы остались без горячего, но всем было не до еды. Порывы ветра были такими сильными, что испражнения, словно отвратительные птицы, разлетались из параш во все стороны, и оседали на людях. С каждым днем становилось все хуже и все критичнее. Большинство не могло двигаться. Люди неподвижно лежали в испражнениях, их рвало, они стонали и проклинали все на свете.

Пока мы плыли по Белому, Баренцеву и Карскому морям, за борт выбросили сто пятьдесят трупов. Конечно, их было гораздо больше. Мы не могли всех пересчитать. 16 августа судно оказалось в ледовом плену. Капитан, маневрируя, попытался обойти ледовую массу, но тщетно. Тогда он попросил помощи. 18 августа подошли ледоколы, среди них – ледокол «Ленин»!

Судно пристало к острову Новая Земля, пополнило запасы воды и свежего хлеба. Горячее питание улучшилось. Иногда нас кормили даже по два раза в день. Начальник транс-

порта словно испугался, что будет слишком много мертвых. 21 августа мы вошли в устье великой сибирской реки Енисей. 22 августа корабль бросил якорь в порту Дудинка.

Часть III На крайнем севере

Чти отца с матерью!

Низкие облака висели над нашими головами, когда корабль бросил якорь недалеко от берега. Перед нами лежала ледовая и снежная пустыня. Нигде ни единого деревца! Кругом одни кустарники. В душах наших родилось ощущение, что все потеряно, что нет спасения, нет надежды. Мы заметили лишь несколько деревянных домиков и какую-то станцию узкоколейной железной дороги.

Началась высадка.

Чтобы провести поверку, нас усадили в снег. Не спеша заполняли мы поезд, курсирующий по узкоколейке от Дудинки до Норильска. В этом небольшом поселении первыми людьми, с которыми мы столкнулись, были уголовники, работавшие на этой железнодорожной станции. К нам обратился уголовник с лопатой в руке:

- Эй, братва, вы откуда?
- С Соловецких островов, – ответил один из нас.
- А, значит, поменяли шило на мыло, не так ли? – воскликнул уголовник.
- Как вы здесь живете?
- Сами увидите.
- Как кормят?
- Да кормят так, что даже к бабам не тянет.
- Вы за что попали в лагерь? – спросил я его.
- За то, братан, что не чтит отца с матерью.
- А вы все получили по двадцать пять, да? – спросил меня другой уголовник.
- Откуда ты взял эту цифру?
- Так фашистам дают по двадцать пять.
- Мы не фашисты. Здесь большинство бывших членов партии.
- Ага, значит, вам сталинский ус не понравился? – насмешливо бросил уголовник.

В маленькие вагончики набилось пятьсот человек. Подъехал небольшой паровозик, и мы тронулись. На 105-м километре узкоколейной железной дороги Дудинка-Норильск мы оставили поезд и пошли пешком в направлении к каменноугольной шахты «Надежда», находившейся в 10 километрах. Дорога шла по болотистому месту, которое кое-где даже не до конца замерзло. Мы шагали по колени в воде, с трудом вытаскивая ноги. Еле выкарабкались на одну стремнину. В нашей группе было много больных, которые не могли передвигаться без посторонней помощи. Многие побросали чемоданы и узлы, так как не было сил их нести. Конвойные не давали нам отдыхать, так как боялись, что нас застанет в дороге ночь.

Как мы строили железную дорогу

В лагерь «Надежда» мы прибыли еще днем. Перед нами предстали пять бараков и пять палаток. В один из бараков с фанерными стенами завели сто пятьдесят человек. В их числе были я и мои товарищи Рудольф Ондрачек, Йозеф Бергер и Ефим Морозов. В бараке были трехъярусные нары. Йозеф Бергер занял место внизу, а Ондрачек, Морозов и я стали искать места на третьем ярусе. В центре барака стояла железная печь, отапливаемая углем. Мы собрались возле горячей печки в глубокой подавленности. Отсюда нет ни выхода, ни спасения.

Пришли первые лагерные служащие. Это были уголовники, которым доверили нас «перевоспитывать» и сделать из «контрреволюционеров» советских людей. Они сказали, что рано утром нам нужно вставать и отправляться на работу, поэтому будет лучше, если мы ляжем пораньше. Перед уходом спросили, не хотим ли мы продать одежду.

– Для вас лучше ее продать, потому что ее у вас все равно украдут, – предупредил нас один из уголовников.

Я сильно устал и сразу заснул. В шесть часов утра раздалась команда: «Подъем!»

Через пятнадцать минут в наш барак с криками ввалились вооруженные деревянными дубинками «начальники». Это были лагерные погонялы, состоявшие из воров в законе, в обязанности которых входило следить за тем, чтобы никто не увиливал от работы. Тех, кто не успел подняться вовремя, они силой сбрасывали с нар. За полчаса нужно было позавтракать. Мы пошли за завтраком на кухню, находившуюся в тридцати метрах от барака. Это был маленький деревянный барак, покрытый толем. Из окна кухни за нами следил лысый, пожилой человек. Рядом с ним стоял с черпаком в руке более молодой. Перед ним была деревянная бочка, из которой поднимался пар. На столе лежала селедка. Я протянул ему талон, который получил от бригадира вместе с 600 граммами хлеба.

– Где твоя посуда? – спросил лысый.

– У меня ее нет.

– Прикажешь мне налить баланду в шапку?

Взяв свою рыбу, я пошел искать какую-нибудь посудину. Но поиски ничего не дали, хотя в других бараках, где жили «старики», всякой посуды, особенно консервных банок, было достаточно. Но они не желали с нами делиться. Тут прозвучал сигнал к работе, раздачу на кухне закрыли. Большинство отправилось на работу, так и не поев первого.

Нас разбили на две группы. Одну направили на работу в шахты, другую, в которой оказался и я, – на строительство узкоколейной железной дороги Дудинка-Норильск.

В нашем лагере ограждения не было, но через каждые пятьдесят метров стояла вышка, где дежурил солдат с автоматом. Покидать территорию лагеря было запрещено.

В шесть сорок пять все заключенные собрались в одном месте, откуда следовало двинуться к месту работы. Построили нас в колонну по пять, а до этого разделили на бригады, в каждой – по пятьдесят человек, во главе которых стояли бригадиры, назначенные лагерным начальством. Когда мы построились, наш бригадир вышел вперед и, остановившись перед начальником лагпункта, отрапортовал:

– Пятая бригада в количестве пятидесяти человек готова к выходу на работу.

Дежурный командир конвоя считал:

– Первая, вторая, третья...

Чуть подальше нас принял конвой и снова пересчитал бригады. После этого командир произнес:

– Внимание, заключенные! Во время марша запрещено разговаривать, переходить из одного ряда в другой и выходить из строя даже на один шаг влево или вправо. Если

кто-нибудь нарушит этот приказ, конвой без предупреждения применит оружие. Вы меня поняли?

– Поняли! – закричали мы.

– Конвой, оружие к бою! Вперед марш!

Двинулось одновременно несколько сот людей, конвойные держали оружие в состоянии боевой готовности. Слева, справа и в конце колонны нас сопровождали караульные собаки. Собаки лаяли и порывались схватить ближайшего заключенного. Место нашей работы было недалеко, в пятнадцати минутах ходьбы от лагеря. Нас разделили по группам, каждая бригада отдельно. Нарядчик объяснил каждому бригадиру задачу его бригады. Наша задача состояла в перевозке щебня на тачках к железнодорожной насыпи. На троих выдавали одну тачку: двое нагружали ее, третий возил. Пока одну тачку везли к насыпи, другую наполняли щебнем. Работа продолжалась одиннадцать часов, и за это время нужно было выполнить норму – двенадцать кубических метров на троих. Мы подсчитали, что, согласно норме, за день нужно было преодолеть с тачкой двадцать пять километров. Если норма выполнялась, каждый получал по 700 г хлеба, утром и вечером по литру баланды и 250 г просяной или какой-нибудь другой каши. Кроме того, три раза в неделю мы получали по 200 г селедки. Ежемесячно нам выдавали по 700 г сахара и 50 г хозяйственного мыла. Выполнившие норму на 120 % получали премию в виде 200 г соленой рыбы; не выполнявшие норму получали меньше хлеба и меньше каши. Тех же, кто выполнял норму лишь на 60 %, наказывали таким образом, что выдавали только 300 г хлеба и один раз в день пол-литра баланды. Сахар, чай и мыло получали лишь те, кто выполнял норму. Но, поскольку люди были физически изможденными и больными, норму выполнить не мог никто.

В восемь вечера мы вернулись в лагерь. Я настолько устал, что ничего не чувствовал. Даже есть не мог. Забрался на нары и заснул. Через два часа проснулся от голода. Ондрачек принес мне мой паек и поставил на нары у изголовья. Здесь были и баланда с кашей и кусочек хлеба. Все это было в каких-то больших консервных банках, которые он неизвестно где достал. Лишь поев, я заметил, какие у меня грязные руки. Воды в бараке не было, и поэтому я вышел во двор, чтобы помыть их снегом. Но не успел я выйти за порог, как часовой с вышки тут же закричал, чтобы я возвращался в барак. После десяти вечера выходить из барака запрещалось! Все спали. В бараке царил покой. Дежурил лишь один человек, подерживавший огонь в печи. Делал он это по совести, и в бараке было тепло. Не так-то легко оказалось подняться на нары и найти свое место. Все лежали так плотно, что мне пришлось втискиваться между спавшими. Но никто даже не заметил, что кто-то их расталкивает; все спали как убитые.

На следующее утро повторилось то же самое: в поисках посуды я остался без баланды и вынужден был удовлетвориться селедкой и шестьюстами граммами хлеба. Я посоветовался с друзьями, где можно достать хоть какую-нибудь жестянку. Они сказали, что будет лучше всего, если я продам костюм и на эти деньги куплю трехлитровую банку гороха. Это нам всем пригодится. Вернувшись с работы, мы пошли искать уголовников, предлагавших нам сразу после приезда продать свои вещи. Вскоре мы их нашли, и я продал свой костюм за восемнадцать рублей, правда, мне пришлось добавить к нему еще и галстук. Я без сожаления расстался с этим галстуком, так как знал, что он мне больше не понадобится. В лагере был небольшой ларек, где уголовник продавал мыло, зубную пасту, зубные щетки и другую мелочь. Я был счастлив, что мне удалось купить большую жестяную банку гороха. И вот мы вчетвером – я, Ондрачек, Бергер и Морозов – ели консервированный горох деревянными ложками собственного изготовления. Мы радовались тому, что теперь каждое утро будем есть теплую баланду.

Но на следующий день нам стало не до веселья. Утром Ондрачек сказал мне, что чувствует себя очень плохо и не может идти на работу. Я пошел в соседний барак, чтобы рас-

спросить у старых лагерников, что нужно делать в таких случаях. Там мне сказали, что рядом с лагерной канцелярией находится амбулатория и больному нужно явиться туда. Если врач подтвердит болезнь, то больной будет освобожден от работы. Но меня предупредили: если у больного температура ниже 38°, его не освободят от работы, какой бы тяжелой ни была болезнь. Разве что он сломает ногу или тяжело травмируется на работе. В таком случае температура не важна.

Я повел Ондрачека в амбулаторию. Там уже была очередь из двадцати человек. Через каждые две минуты новый больной входил в кабинет врача. Большинство из них ругалось. Мало кто выходил с довольными лицами. Таким счастливым не нужно было идти на работу. Когда мы вошли, врач спросил, почему мы вдвоем. Я объяснил ему, что мой товарищ очень слаб и самостоятельно ходить не может.

– Сейчас мы это проверим, – ответил врач и поставил Ондрачеку под мышку градусник.

Пока Рудольф мерил температуру, я рассматривал амбулаторию. Нехитрый стол, сбитый из обычных досок, на стене аптечка с лекарствами, в углу – койка с соломенным тюфяком и одеялом. Чистота средняя. Врач посмотрел на градусник, кивнул головой, достал из настенной аптечки три порошка и протянул их Рудольфу.

– Принимайте три раза в день, вечером придете опять. На работу сегодня не выходите.

Мы были рады, что все так закончилось. Это было сверх ожидания. Я отвел Рудольфа в барак, уложил на нары и помчался на кухню за завтраком.

Вернувшись вечером с работы, я первым делом спросил Рудольфа, как он себя чувствует. Он ответил мне на венском диалекте:

– Korl, hait hob i a echtes Wena gobelfrühstük!

(Карл, я сегодня съел настоящий венский завтрак!)

– Хлеб со свиным салом?

– Ты угадал, Карл.

Я обрадовался хорошему настроению Рудольфа. Значит, ему стало лучше. Я полюбозыгрывался, где он достал такую еду. Он рассказал, что в наш барак наведился один старый лагерник, работающий в шахте, и поинтересовался, есть ли среди новичков земляки. Услышав, что Рудольф австриец, да к тому же больной, он принес ему кусок хлеба с салом. Ондрачек сиял от счастья. В Вене хлеб с салом едят лишь бедняки. Я улыбнулся, когда Рудольф показал мне кусочек. Я отказывался от этого куска, но, чтобы не обидеть Рудольфа, все-таки съел его. К сожалению, моя радость по поводу того, что дела Ондрачека пошли на поправку, была преждевременной. С каждым днем ему становилось все хуже. Помимо высокой температуры у него начался сильный понос. Порошок, который ему дали в амбулатории, еще больше навредил ему. Этот «доктор» на самом деле был не врачом, а медбратом. Я пошел к этому горе-доктору и попросил его отвезти больного в больницу.

– Я сожалею, но здесь нет больницы. Ближайшая находится в десяти километрах, да и та переполнена. Понимаете, я не могу рисковать, отправляя его в больницу. Если он не тяжелобольной, его вернут.

Прошло семь дней. Ондрачеку с каждым днем становилось все хуже. Наконец Йозефу Бергеру пришла в голову мысль, что самым разумным будет каждый вечер бегать в амбулаторию и панически кричать, что Ондрачек умирает. Это заставило «доктора» прийти в барак и посмотреть, в чем дело. Ему надоели эти постоянные бега, к тому же он немного испугался, что Рудольф действительно умрет в бараке. За это его не похвалили бы. В НКВД любили порядок. Заключение мог умереть, это их мало волновало, но горе врачу, если больной умрет на нарах. Он должен умереть в больнице. И «доктор» решил отправить Рудольфа в больницу. Но он не мог найти никакого транспортного средства, кроме конской или собачьей упряжки. Когда мы снова пришли с тревожной вестью о том, что Рудольф в агонии, «доктор» спросил нас, может ли Ондрачек поехать в больницу верхом на коне. Я

изумленно посмотрел на него и спросил, как больной, который не может даже ходить, будет ехать верхом? Он пожал плечами. На следующий день, прежде чем отправиться на работу, я попрощался с Ондрачеком и дал ему оставшиеся от продажи костюма пятнадцать рублей. Расставание было тяжелым. С нашей стройплощадки мы видели, как Рудольфа готовят к отправке в больницу. Его уложили в какой-то ящик, половина тела оказалась снаружи, ноги свисали. В этот ящик впрягли лошадь, и она потащила его по снегу. Ящик оставлял за собой широкий след. Мы приветствовали его и махали ему, но Рудольф был не в состоянии отвечать на наши приветствия.

Мы пытались хоть что-нибудь узнать о судьбе Ондрачека, но безрезультатно. Лишь спустя два года, когда меня перевели в другое отделение Норильского лагеря, я узнал подробности о нем.

Администрация лагеря форсировала строительство железной дороги. Рабочий день увеличили. Большинство заключенных уже долгое время находилось в разных тюрьмах, и их организмы совсем истощились от слабого питания и тяжелого режима. Кроме того, эти люди не привыкли к физическому труду. Очень мало среди нас таких, кто раньше занимался физическим трудом. В тюрьме на Соловках сидели в основном высшие партийные работники, руководители трестов, наркомы, врачи, профессора и т. п. Не удивительно поэтому, что многие из этих людей в короткое время физически сдали.

Условия жизни в лагере «Надежда» с каждым днем все ухудшались. Придя с работы, заключенный не мог даже умыться, так как воды, которую приносили в бочках, едва хватало для кухни. Мы могли умываться только снегом, но тот был покрыт слоем угольной пыли. На наших нарах не было ни матраца, ни подушки, ни одеяла. Мы укрывались одеждой, в которой работали. Но, если одеждой укрыться, спать приходилось на голых досках. В бараке было полно клопов. В выходной день нас водили в баню, которая находилась в восьми километрах от нас, и дорога к ней шла через болото. Это было настоящей пыткой! К тому же баня была маленькой и могла заразить всего семьдесят человек. А остальным тремстам приходилось ждать на дороге. Один сеанс такого купания продолжался двенадцать часов. Поэтому все, кто был слишком слаб физически, а таких было много, не хотели идти мыться. Но поскольку это было обязательно, люди прятались в других бараках, лишь бы избежать этой пытки. Однако после стольких дней немытья люди вшивели.

Жалобы заключенных оставались без ответа. В лагере верховодил уголовник, собравший вокруг себя отъявленных бандитов, которые хозяйничали, как хотели. Питание было очень плохим, однако некоторые получали все, что можно. Продукты хранились под открытым небом, поскольку специального помещения не было: так и стояли рядом с кухней бочки с мясом, рыбой и прочим. Мы видели, как уголовники разбивают бочки и уносят в бараки большие куски мяса, а затем его варят и едят. Политические же (да и то не все) очень редко получали кусок мяса. Заключенным полагалось в месяц по 700 г сахара, но за эти два месяца мы получили его всего один раз, да и то мизерное количество. Перед администрацией лагеря мы поставили вопрос, почему мы не получаем сахара, на что нам ответили:

– Больше работайте, тогда и получать будете больше!

Выходных дней у нас почти не было. Даже по воскресеньям приходилось работать. Отдыхать можно было лишь тогда, когда бесновалась пурга. Иногда пурга бывала такой сильной, что в двух метрах ничего не было видно. Тогда у нас была возможность немного отдохнуть. Мы лежали на нарах, спали или беседовали. Книг не было, но были люди с отличной памятью. Они умели настолько точно передавать содержание прочитанных книг, что создавалось впечатление, будто они их нам сейчас читают. Можно было писать домой. Вначале я не верил, что из этой глуши письма могут доходить до адресатов, но старые лагерники говорили, что они получают почту от родных. Это придало мне уверенности. Я написал письмо жене. Уже два года прошло с тех пор, как я получил от нее последнее письмо.

Я не верил, что она мне ответит. Но всего лишь через месяц от жены пришла телеграмма и немного денег. Я был невероятно счастлив. Но денег мне не выдали. В лагере существовало правило, согласно которому только тот имеет право получать по пятьдесят рублей в месяц, кто хорошо себя ведет и выполняет норму как минимум на сто процентов. А поскольку я эту норму выполнить не мог, то и не имел права получать свои собственные деньги.

Пурга завывала снова. Мы валялись на нарах, когда в барак вошел лагерный нарядчик и, прочитав список из ста фамилий, в том числе и мою, сообщил, что, как только погода улучшится, мы будем переведены в другой лагерь, в Норильск. Мы обрадовались, так как о Норильске рассказывали чудеса: там-де живет хорошо! Я не верил этим рассказам, но когда услышал, что там есть вода, то подумал, что поеду в рай. Снежная метель, как назло, не прекращалась. Мы потеряли терпение! Хотя мы сейчас и не работали, но хотелось, чтобы нас как можно быстрее перевели на новое место. Наконец непогода успокоилась, и начальник караула передал нас группе конвоя. Оставшиеся в лагере шахты «Надежда» с завистью смотрели нам вслед.

Мы шли под конвоем по ущелью, и ледяной диск солнца освещал нам путь. Наконец вышли на единственную ведущую в Норильск дорогу. Минус двадцать градусов. Проходя мимо женского лагеря, все повернули головы в его сторону – пусть останется в нашей памяти хоть какое-то женское обличье. Женщины смотрели на нас ласково, с дружеской улыбкой на лице. По дороге нам встречались грузовики и подводы. У одного из домов стоял запряженный в нарты северный олень. Мы приближались к Норильску.

Как мы строили Норильск

Норильск – город краевого подчинения в Красноярском крае РСФСР. Соединен железной дорогой с портом Дудинка на Енисее.

Поселок Норильск преобразован в город в 1953 г...

Имеются (1954) 7 средних, 5 семилетних, 4 начальные школы, 3 Дома культуры, Дом пионеров, драматический театр, кинотеатр, 3 библиотеки.

Строятся (1954): Дворец культуры, бассейн для плавания, кинотеатр, музыкальная школа⁵.

Мы оказались в примитивных, сбитых из досок бараках, служивших одновременно и складами для орудий труда, и небольшими мастерскими. Перед бараками лежало множество разбросанных шпал, предназначенных для строительства железной дороги, которая должна будет связать главную ветку с угольной шахтой.

Рассматривая эти бараки и этот беспорядок, я вспоминал наши разговоры на шахте «Надежда» о Норильске. Норильск находится в 120 километрах от Дудинки, центра Таймырского полуострова. Это место было известно еще в шестидесятые годы прошлого столетия. Известный купец Морозов пытался использовать огромные природные богатства этой глуши. Но его попытка не увенчалась успехом, так как для этого предприятия у него не было рабочей силы. Морозов обратился к тогдашнему губернатору Енисейской губернии и попросил его о помощи. Губернатор послал в Петербург сообщение о наличии драгоценных металлов в Норильске и его окрестностях. Через несколько лет в Енисейск прибыла комиссия, которая в сопровождении вице-губернатора и купца Морозова отправилась в Норильск и еще дальше на север. Комиссия направила царю извещение о том, что в Норильске есть огромные месторождения полезных ископаемых, но комиссия считает их использование невозможным, ибо лето здесь длится всего два месяца. А остальные десять месяцев такие лютые морозы и снежные бураны, что людей поселить в этих местах невозможно. Поэтому проект купца Морозова осуществить не представляется возможным.

Но если царские чиновники считали, что в Норильске невозможно поселить людей, то сталинские бюрократы оказались более динамичными. В 1935 году Сталин приказал НКВД найти специалистов и рабочую силу и построить в Норильске лагерь. Это произошло зимой 1935–1936 годов. Затем были арестованы сотни горных инженеров и несколько врачей. Арестованные были осуждены «тройкой» за вредительство на десять лет лагерей. В то же время в разных тюрьмах НКВД пять тысяч рабочих, крестьян и интеллигентов ждали открытия навигации на Енисее. В первые дни лета погрузили на пароход людей, инструменты, продукты и палатки.

В лето господне 1936-е родился «Норильский лагерь НКВД».

Первые заключенные, попавшие в Норильск, были молодыми, здоровыми людьми. В НКВД произвели тщательный отбор. Тяжелый климат, тяжелая работа и полностью необжитая территория требовали закаленных людей. Медицинская комиссия внимательно осматривала каждого, особенно обращая внимание на здоровые зубы. На Крайнем Севере свирепствовала цинга. Когда летом 1936 года прибыл первый большой транспорт, местные кочевники заволновались. Они здесь пасли большие стада северных оленей и ставили капканы на песцов. Кочевые племена самоедов⁶, олени и песцы откочевали дальше на северо-восток. От Енисея до озера Пясино, т. е. на расстоянии 40 км, через каждые 5–6 километров

⁵ Пусть читателя не удивляет разница в годах. Они в точности взяты из Большой советской энциклопедии...

⁶ Устаревшее название ненцев.

установили палатки. В палатках были деревянные нары, а посередине – железная печь. В двух палатках оборудовали кухню. Продукты хранились под открытым небом. Кормили и снабжали заключенных обильно, нам давали даже лимон и различные препараты от цинги. В первый год построили только бараки и административное здание. Поскольку леса здесь нет, строительный материал сплавляли по реке. Прежде всего, территорию нужно было очистить от высокого и смерзшегося снега. Работали примитивным инструментом: железными ломом, лопатами, кайлом. Очищали мерзлую почву и укладывали фундамент для бараков. С огромным трудом рыли землю в вечной мерзлоте. Больше половины этих молодых людей умерло от непосильной работы, холода и болезней. Пока заключенные строили бараки, группа геологов производила разведку полезных ископаемых. За короткое время отправили в Москву образцы олова, меди, кобальта и других ценных металлов. Были обнаружены и большие залежи каменного угля.

В 1937 году в Норильск прибыло двадцать тысяч заключенных. Только часть из них могла разместиться в бараках. Остальные вынуждены были жить в палатках. Половина заключенных строила узкоколейку Дудинка-Норильск. В 1938 году прибыло еще 35 тысяч заключенных. Транспорты прибывали один за другим, но число заключенных не увеличивалось, так как смертность была страшная. Умирали массово, а результатов трехлетнего их труда почти не было видно. Сталин требовал любой ценой переходить к эксплуатации залежей благородных металлов. Он готовился к войне. Цены на эти металлы на мировом рынке повышались изо дня в день, особенно после прихода к власти Гитлера, а у России не было денег, чтобы покупать эти металлы. Сталин пригласил к себе начальника строительства Норильска Матвеева и назначил ему срок: или до 1939 года Норильск начнет производить олово и медь, или он, Матвеев, останется без головы. Матвеев пообещал выполнить задание. Наступил 1939 год. Металла нет. Матвеева и четверых его помощников отправили на Колыму и расстреляли⁷. На место Матвеева пришел Авраамий Завенягин, принявший руководство Норильском, восемьдесят бараков и большое кладбище. Норильску было всего три года, но кладбище у него было, как у городов, простоявших не одно столетие. Завенягин был умнее: он требовал квалифицированные кадры – инженеров, техников, экономистов. С Соловецких островов прибыла партия в четыре тысячи человек, известная в истории Норильска как «соловецкий этап». Завенягину и его помощнику Волохову требовались именно такие люди. Они знали, что большое предприятие нельзя построить методом террора.

Чтобы заинтересовать инженеров и техников в работе, они давали им мелкие привилегии: лучшие помещения, лучшее питание. Но руководство НКВД думало по-другому: политзаключенных нужно посылать на самые тяжелые работы, а более легкие следует давать уголовникам. Завенягин и Волохов постоянно ссорились с так называемым третьим отделом. Им приходилось противостоять НКВД, но они добились того, что инженеры и техники делали свои проекты в теплых помещениях, а не долбили мерзлую землю. Удивительно, но и у Завенягина, и у Волохова головы остались на плечах. Завенягину прислали еще одного заместителя, Еремеева, в обязанности которого входило следить за тем, чтобы политические не чувствовали себя слишком вольготно.

И года не прошло, как в Норильске задымили трубы и первое олово было погружено на суда в порту Дудинка.

⁷ Автор здесь снова ошибается. Начальник Норильскстроя с 25.06.35 по 13.04.38 Владимир Зосимович Матвеев действительно 13 апреля 1938 года был снят с должности, а 27 апреля арестован. Однако не был расстрелян, а умер 30 сентября 1947 г. в архангельской ведомственной больнице от туберкулеза.

Смерть Рудольфа Ондрачека

Когда мы прибыли в Норильск из рудника «Надежда», меня с товарищами определили во II лаготделение. Уже стемнело, когда нас принял начальник лаготделения Леман. К нашей радости, нас сразу повели в душ. Однако мы там не только вымылись, но и переночевали. На следующий день нас отвели в недостроенный барак. Во II лаготделении в это время было около восьми тысяч заключенных, политических и уголовников. Находилось здесь и восемьсот женщин, живших в отдельных бараках, опоясанных колючей проволокой.

На следующее утро мы пошли на работу. Как и обычно, нас выстроили перед баракom и мы строем направились к воротам. Было холодно – минус сорок пять градусов. Мы подошли к воротам, и мне показалось, что я в бреду: в полуметре от земли, связанный проволокой, висел голый труп. Проволокой ему скрутили ноги и грудь, голова свисала, остекленевшие глаза были полуоткрыты, кости торчали во все стороны, во рту, казалось, не было ни кусочка мяса. А над его головой была прибита табличка с надписью: «Такая судьба ждет каждого, кто попытается бежать из Норильска».

Черты лица показались мне знакомыми. Кто бы это мог быть? Во время марша меня постоянно мучила мысль: кто этот человек? И вдруг я ужаснулся!

Это был Рудольф Ондрачек.

Неужели он пытался бежать? Он никогда не говорил мне о побеге. Целыми днями мысли мои вертелись вокруг трупа моего замерзшего товарища Рудольфа. Меня не покидало желание узнать, почему его труп повесили на воротах лагеря.

Однажды мы пошли мыться. В бане дежурил врач. Из разговора с ним я узнал, что его зовут Георг Билецки и что он из Лейпцига. Я спросил его, видел ли он повешенный скелет.

– Вы что, удивляетесь? Сразу видно, что вы здесь недавно. У вас еще будет возможность и не такое увидеть, – ответил он.

Я рассказал врачу Билецкому, почему я так интересуюсь Рудольфом Ондрачком. Билецки посоветовал мне об этом молчать и пообещал расспросить у своих коллег о том, что произошло. В воскресенье он зашел в наш барак и пригласил меня пройтись с ним. Мы пошли к нему в барак, там он познакомил меня с ленинградским врачом Райвичером. Райвичер работал хирургом в больнице I-го лаготделения. Он сказал, что помнит, как привезли из шахты в больницу Рудольфа Ондрачека. Ондрачек был в очень тяжелом состоянии: у него обнаружили запущенную дизентерию, сердце его совсем ослабло, да еще вдобавок к тому у него было полное физическое истощение. Почти не было надежды, что он поправится. И все же через два месяца ему стало немного лучше.

– Я как раз дежурил по больнице, – рассказывал Райвичер, – когда Ондрачек зашел в мой кабинет и попросил дать ему снотворное. Поблагодарив, он вышел. Вдруг я услышал, будто кто-то упал. Выскочила медсестра – у двери лежал Ондрачек. Я осмотрел его и установил, что он мертв.

Я спросил, как же можно было провозгласить Ондрачека беглецом. Он сказал, что не знает и в его компетенцию не входит знать это. Билецки очень заинтересовался Ондрачком и попросил меня рассказать о нем все, что я знаю.

– Ондрачек родился в Зноймо. Ныне это в Чехословакии. Он был деятелем коммунистической партии Австрии. Приход Гитлера к власти в 1933 году застал его в Берлине, и нацисты бросили его в концлагерь. Когда его выпустили, Ондрачек покинул Германию и выступил в Женеве на международном форуме. Он поведал обо всем, что пережил в нацистском лагере. После этого он с женой и ребенком уехал в Советский Союз. Несколько лет работал в Профинтерне. Когда Сталин решил уничтожить старую гвардию коммунистов, в числе первых арестовали Ондрачека и основателя компартии Австрии Коричонера. Коричо-

нер был банковским служащим и публицистом. Арестовали его в 1936 году в Харькове и приговорили к трем годам тюрьмы. Когда же он обжаловал приговор, Верховный суд Украины приговорил его к десяти годам. В 1940 году НКВД выдал Франца Коричонера в руки гестапо, которое и расправилось с ним⁸.

Жена Ондрачека с ребенком по совету некоторых друзей и при содействии австрийского консульства в Москве вернулась на родину.

Я не могу забыть Ондрачека. Это был удивительный человек. Не знаю, узнает ли жена когда-нибудь о том, как он умер, – закончил я свой рассказ.

Я работал в первом цехе в бригаде, перерабатывавшей олово и медь. В мою задачу входило разгружать руду, которую привозили из рудника в вагонах на грузовиках. Рабочий день продолжался с восьми утра до восьми вечера. За это время каждый заключенный должен был сгрузить шестнадцать тонн руды. За эту работу нам полагалось 600 г хлеба, два раза в день горячее блюдо, т. е. пол-литра баланды, 200 г каши и одну селедку. Кто не выполнял норму, получал меньше. А не выполнявших норму было много. Всех таких заключенных собирали вместе из разных бригад, и они продолжали работать до тех пор, пока норму не выполняли. Через каждые два часа выполнившие норму возвращались в лагерь.

Некоторые оставались на рабочем месте всю ночь, а утром продолжали трудиться со своей бригадой. Люди падали от усталости и самостоятельно вернуться в лагерь уже не могли. Были и такие, которых в бессознательном состоянии отправляли прямо в больницу. Но для того, чтобы оставить их там на лечение, нужна была хотя бы повышенная температура. Однако все эти люди были настолько измождены, что у многих не было даже нормальной температуры. Для приведения в чувство их бросали в холодную воду. Но многим и это не помогало.

Смертных случаев из-за чрезмерно тяжелого труда становилось все больше, и лагерное начальство вынуждено было издать приказ, согласно которому те, кто не выполнил норму, могут работать сверхурочно не более двух часов.

И все же жизнь в Норильске была лучше, чем на руднике «Надежда». В бараках было места больше, а клопов меньше, можно было мыться, и не нужно было идти до работы десять километров. Медицинская помощь была лучше, квалифицированные врачи стремились, облегчать судьбу заключенных.

Врачи-заключенные из Ленинградской Военной академии Никишин, Баев, Розенблюм и московский врач Сухоруков действительно старались облегчать нам жизнь. За врачами постоянно следили начальники санчастей и часто наказывали их, отправляя на самые тяжелые работы. Но те согласны были лучше рыть землю, чем посылать больных людей на работу.

Сухоруков был врачом спортивного клуба в Москве. Летом 1936 года группа футболистов отправилась в Швецию на товарищеский матч. С ними поехал и Сухоруков. По возвращении все они говорили, что за границей не такая уж и нищета, как об этом твердит официальная пропаганда. Вся команда была арестована и приговорена к десяти годам лагерей.

Начальником санчасти II лаготделения была Александра Слепцова. В Норильск она приехала вместе со своим мужем, горным инженером. Слепцов руководил одной из шахт, а в Норильск его послала партия следить за тем, чтобы заключенные не саботировали работу, хотя о саботаже не могло быть и речи. Заключенные работали за совесть, а вольнонаемные за зарплату. Все знали, что большинство тех, кто живет на свободе, больше думает о водке, чем о работе. Эти молодые люди знали, что они могут полностью положиться на инжене-

⁸ Франц Коричонер был арестован по ложному обвинению в 1937 году и до 1940 года был в заключении в СССР в различных тюрьмах и лагерях. В апреле 1941 года власти СССР передали Коричонера в руки нацистской Германии. Он был немедленно арестован гестапо и отправлен в тюрьму в Вене. 3 июня Коричонер был отправлен в концлагерь Освенцим, где был убит через несколько дней – 9 июня 1941 года.

ров и техников-заключенных. Жена Слепцова была молодой и красивой, добросердечной и очень честной. Она придерживалась принципа: «Для меня все больные одинаковы. Меня не интересует, является больной заключенным или вольнонаемным». В отношениях с врачами-заключенными, у которых она многому научилась, она была не только корректной, но вела себя с ними по-товарищески, как с коллегами. Конечно, она делала это осторожно, чтобы этого не заметили в НКВД. Ей удалось для больных заключенных устроить особую кухню. Под ее присмотром, согласно предписаниям врачей, готовилась еда для больных. Больные не чувствовали себя заключенными. Она заботилась о том, чтобы выписанных из больницы сразу не направляли на тяжелую физическую работу. С раннего утра она становилась у ворот и следила, чтобы ни одного больного не отправили на работу. Из-за этого у нее часто происходили стычки с начальником лаготделения. Туго приходилось бригадиру, если Слепцова замечала, что он бьет заключенного. Она все делала для того, чтобы этот нелюдь, который тоже был лагерником, слетел со своей должности и был направлен на более тяжелую работу.

Руководству НКВД не нравилось поведение Слепцовой, но они ничего не могли предпринять, поскольку ее муж был одним из партийных руководителей Норильска. Многие заключенные остались в живых лишь благодаря этой храброй женщине.

Несколько месяцев я был на тяжелой работе на заводе по переработке олова. Олово нужно было загрузить в бочки, а бочки погрузить в вагоны, отправляемые в Дудинку и Красноярск. Тяжелая работа и плохое питание ослабили мой организм настолько, что я больше не мог работать. Я сказал об этом моему другу Георгу Билецкому. Он обещал мне помочь. Вскоре врач Никишин предложил направить меня, вследствие плохого состояния здоровья, на более легкую работу, несмотря на протесты уполномоченного НКВД, заявившего, что я являюсь «опасным преступником». И все-таки меня направили санитаром в амбулаторию.

В лагере начался брюшной тиф. Следовало оборудовать временную больницу. Меня назначили руководителем этой больницы. Четыре месяца работал я в этой должности и все были довольны: и больные, и начальница санчасти. Когда эпидемия прошла и больницу расформировали, меня снова отправили на тяжелую работу. Но теперь мне было легче, так как я значительно окреп.

В лагере было много иностранцев, людей исключительных, с высоким интеллектом и сильной моралью. Особенно выделялся Йозеф Бергер, необычайный человек, сама доброта. Его готовность сделать что-нибудь для другого и пожертвовать собой не имела границ. Физически он был очень слаб, но всегда стремился облегчить жизнь другому и спасти его от тяжелой работы. Всю свою энергию он использовал для помощи другим людям. Особенно заботился о тех, кто только что прибыл в лагерь, кто еще к этой жизни не приспособился и не мог защитить себя от самоволия лагерной администрации и террора уголовников. Он их снабжал хлебом, махоркой и теплым бельем. Бергер с ранней молодости участвовал в коммунистическом движении. Свой исключительный ум он поставил на службу рабочему классу. До ареста он занимал один из руководящих постов в Исполкоме Коминтерна, несколько лет возглавлял Секретариат по Ближнему Востоку. В 1935 году его арестовали как «троцкиста» и приговорили к пяти годам. Когда же его срок закончился, процесс возобновили и вынесли ему новый приговор.

Трагедия лагеря «Горная Шора»

Бергер рассказал мне о трагедии лагеря «Горная Шора», в котором оказался одним из немногих выживших.

Летом 1935 года Бергера вместе с четырьмя заключенными из Бутырок погрузили на московском Северном вокзале в товарные вагоны и через Волгу и Урал отправили в Сталинск (при царе – Новокузнецк). Здесь их высадили и задержали на двадцать четыре часа. Получив трехдневный запас продуктов, они направились в тайгу. Идя по тропинке, они то и дело натывались на юрты киргизских кочевников. Косоглазые киргизы с любопытством разглядывали необычное шествие. Иногда киргизские солдаты перебрасывались несколькими фразами со своими земляками. Заключенные шли в колонне по одному. Выйдя на каменистое место, они несколько километров двигались по этой каменистой пустыне, пока снова не оказались в тайге. И так с рассвета до заката. Небольшой привал делали лишь в полдень. По ночам натягивали палатки и спали на голой земле. Сорок низкорослых сибирских лошадок везли продукты для конвоя и заключенных. По ночам для отпугивания диких зверей вокруг палаток разводили костры. Всю ночь были волки и шакалы. Завывание хищников и ржание испуганных коней сопровождали их все три недели пути. Спустя три недели они остановились на большом высокогорном плато. Двадцать больных оставили у дороги. Через несколько дней на том месте конвойные обнаружили лишь одежду да кости. Здесь и разбили лагерь, натянули палатки. Большая палатка служила кухней, другие оборудовали под больницу. Когда самые важные работы были завершены, начальник лагеря распорядился дать всем трехдневный отдых. Они ели рыбные и мясные консервы, сушеные овощи и довольно быстро поправились. Работа была нетяжелой, никаких норм пока не существовало.

Прибывали новые группы заключенных. Сначала еженедельно, потом ежедневно, пока не собралось двенадцать тысяч заключенных. Землю укрывал двухметровый слой снега. Лагерь оказался отрезанным от мира.

Сотрудники НКВД, однако, забыли об одной мелочи: люди и кони должны есть. А запас продуктов был рассчитан на два месяца. Начальник лагеря приказал уполовинить дневной паек для заключенных, объявив, что это временные меры и что о ситуации в лагере сообщено по радио в Главное управление лагерей в Москву (ГУЛАГ) и там обещали помочь самолетами. Рабочая норма была сокращена, о голоде забыли, все ждали самолетов. Однажды был поднят на ноги весь лагерь для очистки от снега территории, куда должны приземлиться самолеты. Люди работали, словно обезумевшие. Вокруг очищенной площадки разложили кучи дров, чтобы в нужный момент их поджечь. Но самолеты не появлялись. Снова выпал снег. Опять расчистили площадку. Глаза все время устремлены в небо. Прошел месяц. Самолетов нет. Дневная норма продуктов снова уполовинена. Заключенные молчали, кони голодали. Коней стали резать, чтобы накормить заключенных и сохранить овес.

Наконец появились самолеты. Все в восторге выскочили из укрытий. Кричали и махали шапками и тряпками. Самолеты долго кружили над лагерем, но не приземлились, а только сбросили груз. Десятки ящиков и мешков летели в воздухе, но лишь немногие попали в цель. Большая часть пропала в тайге в глубоком снегу. Заключенные и конвой вместе собрали небольшое количество ящиков и мешков, в которых были теплая одежда и сухари. Настроение улучшилось. Прошло две недели. Еще один самолет доставил хлеб и консервы. Пакет увеличили на несколько граммов.

Заключенные ежедневно умирали от голода. Начальник лагеря сократил лагерную охрану и всех свободных солдат посылал в тайгу на охоту. Иногда охотники притаскивали даже медведей, но и этого было недостаточно, чтобы выжить. Заключенные умирали ежедневно. Трупы не закапывали, а просто засыпали снегом. Весной снег растаял, вокруг рас-

пространился страшный смрад от разложившихся тел. Выжившие не имели сил закопать своих мертвых товарищей. Начался тиф, лекарств не было, врачи были беспомощны. Когда дороги стали проходимыми, на лошадях прислали продукты. Но из двенадцати тысяч заключенных в живых осталось только триста.

Венгерский адвокат Керёши

Многие помнят процесс над венгерскими коммунистами Салаем и Фюрстом, которых режим Хорти приговорил к смерти и повесил. В лагере в 1939 году я познакомился с их адвокатом Керёши-Молнаром.

В четырнадцатом бараке был банный день. Двести человек разделись в предбаннике и хотели было уже нести свою одежду в помещение для дезинфекции, как вдруг один заключенный заявил, что у него не хватает нижнего белья. Было ясно, что его кто-то украл, а украсть его мог только тот, кто работает в бане. А это было привилегией уголовников. Без нижнего белья невозможно было прожить в ужаснейшем холоде. Кроме того, заключенный, не уберегший часть своего белья, строго наказывался лагерным начальством: с него взыскивали потерю в пятикратном размере. Начальство отбирало деньги, которые заключенным высылали семьи. Обокраденный был в отчаянии. Он обратился к старосте бани, уголовнику, а тот, вместо ответа, начал жестоко избивать пострадавшего. И тут появился сильный, атлетически сложенный человек, схватил уголовника и завернул ему руку за спину. Из соседнего помещения на помощь своему шефу выскочила вся банная обслуга. Началась драка, закончившаяся победой политических. Лагерная вахта бросила в карцер несколько политических, в том числе Керёши и меня. В карцере мы с ним довольно близко и познакомились. После суда над Салаем и Фюрстом Керёши вынужден был бежать в Россию от преследований хортистской полиции. Когда началась большая чистка, его арестовали. Военный суд приговорил его, как агента «хортистской полиции», к десяти годам лагерей.

После выхода из карцера мы с Керёши попали в одну бригаду, участвовавшую в строительстве большого металлургического завода на так называемой Промплощадке. Работа была очень тяжелой. Кирками и железными ломками мы долбили мерзлую землю и готовили котлованы для фундамента. Несмотря на ужаснейший мороз, мы вынуждены были снимать бушлаты, так как пот с нас катился градом. Керёши был физически необыкновенно сильным, он не так уставал от работы, как другие. У него всегда было хорошее настроение. Вечером он сидел в бараке на нарах и переводил Пушкина на венгерский. Я никогда не слышал, чтобы он горевал, жаловался на голод. Он всегда был отзывчивым, всегда мечтал о том, как он вернется в свой Будапешт и снова откроет адвокатскую контору.

Судьба шутцбундовцев⁹

Когда в феврале 1934 года клерофашисты подняли в Вене восстание, большинство шутцбундовцев бежало в Чехословакию. Их разместили в Брно и других местах. Средства для их содержания выделили социал-демократическая партия и профсоюзы.

Вскоре среди шутцбундовцев началась агитация за отделение рядовых членов от руководства, от социал-демократической партии и присоединение к коммунистическому движению. Агитация попала на благодатную почву, так как общеизвестно, что люди в эмиграции всегда чем-то недовольны. Вскоре произошло выступление против руководства, приведшее к открытому расколу. Шутцбундовцы прикрепляли себе на грудь советские звезды, а на крышах барачных домов можно было увидеть красные флаги с пятиконечной звездой. Тогда шутцбундовцев начали вышвыривать из лагеря и они нашли себе прибежище в коммунистических организациях. Когда же их количество достигло нескольких сот, компартия Австрии обратилась к советскому руководству и добилась согласия переправить шутцбундовцев в Советский Союз.

Первый состав с шутцбундовцами встретили в Москве на Белорусском вокзале с музыкой. На площади состоялся митинг, на котором выступили австрийские коммунисты Копленг и Гроссман, а также представители ВКП(б). О шутцбундовцах говорили как о героях и революционерах. Сомкнув ряды, они шли по улицам Москвы до гостиницы «Европа», где их уже ждали накрытые столы. Под музыку и прекрасные закуски они пели революционные песни.

Первые недели они ходили по городу, обращая на себя внимание своей одеждой, особенно накидками и басконскими шапочками. Однако потом они потихоньку стали исчезать с московских улиц. Их можно было еще увидеть в жилых кварталах больших промышленных предприятий в Москве, Харькове, Ленинграде, Ростове и т. д.

В это время в Советском Союзе отменили карточки на хлеб. Русские рабочие были счастливы. Но австрийские рабочие стали роптать, что они получают только черный хлеб и слишком мало сахара. Вожди австрийских коммунистов, работавшие в Москве, тут же выехали на заводы и попытались успокоить шутцбундовцев. Но в ответ услышали лишь угрозы.

– Вы нас обманули.

– Отпустите нас обратно в Австрию.

Вскоре они целыми группами стали обращаться в австрийское посольство в Москве с просьбой разрешить им вернуться на родину. Но в австрийском посольстве не торопились. И пока в Вене заседали по поводу того, пускать ли шутцбундовцев в Австрию, в Москве их прямо на выходе из австрийского посольства арестовывали сотрудники НКВД и отправляли, как контрреволюционеров, в лагерь. ОСО приговаривало их к десяти годам.

В 1939 году в Норильске я встретил нескольких шутцбундовцев. К сожалению, я не запомнил их имен. С одним из них я подружился. Фриц Корпенштайнер был родом из Вены, где жил с родителями в X районе. Это был очень сильный юноша. Чтобы спастись от голода, он продавал свою кровь. Санчасть в Норильске оплачивала каждую сдачу крови десятью штуками яиц, килограммом сахара, полкило масла, килограммом сухофруктов и двумя килограммами свежих овощей. Корпенштайнер сдавал кровь каждые два месяца. Как-то я предупредил его, чтобы он не переусердствовал в этом, однако он уверял меня, что прекрасно себя чувствует. Но однажды он совершенно неожиданно заболел, жалуюсь на сердце и почки. Его состояние все ухудшалось, и в результате он попал в больницу. Через несколько недель

⁹ Шутцбунд (оборонительный союз) – социалистическая организация, существовавшая в Австрии в 1919–1934 годах.

его выписали. Казалось, что ему стало лучше. Но накануне войны его неожиданно перевели из Норильска в краевой центр Красноярск.

Мне так и не удалось узнать о его дальнейшей судьбе.

Вся бесовская сила

Строительство Норильского металлургического комбината приобретало всё больший размах. Прибывали всё новые транспорты заключенных, работали круглые сутки, несмотря на погоду. Выходных почти не было. Морозы стояли такие страшные, что человеку казалось, будто у него мозг замерзает. Но не только мороз был страшен. Гораздо более страшными были снежные бураны. При пурге видимости не было никакой. Заключенные, идя на работу, вынуждены были держать друг друга за руки, чтобы их не унес ветер. Но иногда и это не помогало. Люди падали, словно снопы, и их тут же заметало снегом. В самый разгар пурги нам всегда казалось, что пришел конец света. Густой мрак, завывание ветра, свист и шипение – вокруг нас плясала и визжала вся бесовская сила. Иногда эта бешеная снежная круговерть длилась беспрерывно три-четыре недели. Заметало и бараки, и дороги. Приходилось прилагать невероятные усилия, чтобы преодолеть пятидесятиметровый путь от барака до кухни. Заключенные постоянно боялись того, что метель снесет нас или унесет драгоценную посуду. Когда пурга начиналась во время нашего марша на работу, всё обычно кончалось суматохой. Маленькими группками все возвращались назад без конвоя. Многие заключенные сбивались с пути, и их засыпало снегом. Потом их мертвых или замерзших отыскивали невдалеке от лагеря. На стройке почти не было мест, где бы можно было согреться. Особенно в первые годы, когда еще ни одного здания построено не было. Иногда нам разрешали разводить большие костры.

Но страдали мы не только от лютых морозов и свирепой пурги. В Норильске четыре месяца в году не было солнца и стояла полярная ночь. Однако четырехмесячный полярный день действовал на организм гораздо губительней, нежели четырехмесячная ночь. Когда была ночь, заключенные меньше работали. Разумеется, в условиях лютых морозов, снега, льда, пурги и влаги необычно важную роль играла одежда, полностью сшитая на вате: и штаны, и телогрейка, и бушлат, и валенки. Политические заключенные почти никогда не получали новую одежду. Ее забирали себе лагерные чиновники. Но старая, потертая и заштопанная одежда не спасала политических от холода, поэтому они обматывались разными тряпками. И от этого были похожи на пугало: вместо лица виднелись лишь отверстия для рта и для глаз, а также кончик носа. Даже лучшие друзья зачастую не узнавали друг друга.

В лагерях были бригады, называемые «индусами», состоявшие из людей слабых и истощенных. От непосильной работы и голода люди в них стали походить на тощие скелеты. Они очень страдали от холода. Эти бригады использовались для вспомогательных работ – уборки снега или приведения в порядок лагерной зоны. Конечно, эти люди получали и самую плохую одежду: всю в пестрых заплатках, а вместо валенок у них на ногах были бурки – тряпичная обувь из старых автомобильных шин. От этого у них постоянно опухали ноги, отдельные части тела обмораживались, часто отмерзали руки или ноги. Ампутации были обычным явлением, ежегодно сотни калек отправляли из Норильска в другие лагеря НКВД.

Лагерное начальство по-зверски относилось к тем, кто потерял здоровье. В принципе, оно не признавало ни слабых, ни больных. Заключенный освобождался от работы лишь в том случае, если имел высокую температуру или становился калек. Изнуренные люди ходили на работу до тех пор, пока могли передвигаться. Когда мы возвращались с работы в свои бараки, более сильные всегда вели под руку более слабых и изможденных. Это была ежедневная картина. Заключенных третировали и некоторые врачи, например Шевчук, Харченко и другие. Эти негодяи были в руках НКВД.

Судьба испанских борцов

После победы генерала Франко большинство солдат республиканской армии бежало во Францию, где их разместили в сборных лагерях. Неиспанцы, если они не были родом из стран, в которых господствовал фашизм, вернулись на родину. Часть испанцев уехала в Южную Америку, часть осталась во Франции, а остальные владели жалкое существование в лагерях. Ни одна страна не желала принимать этих революционеров. Даже Советский Союз не хотел давать убежища этим борцам, большая часть которых была членами испанской компартии. Размещение этих людей вызывало все больше проблем у французского правительства.

В демократической прессе все чаще звучал вопрос: почему молчит советское правительство?

Наконец Сталин дал согласие принять детей республиканцев. В Советский Союз прибыло несколько транспортов с пятью тысячами испанских детей. МОПР¹⁰ разместил их в детских домах. Самых бойцов не принимали, но Долорес Ибаррури и некоторым членам ЦК компартии Испании устроили сердечный прием. В благодарность, те рукоплескали Сталину, когда он ставил к стенке старых соратников Ленина. Однажды Мануильский¹¹ попросил Сталина принять несколько тысяч бойцов-республиканцев. Сталин иногда умел быть и великодушным. Он согласился и сказал:

– Но только смотрите, чтобы с испанцами не произошло такого же свинства, как с шутцбундовцами.

Испанцы в Париже оделись на деньги Советского Союза. Затем их посадили на советский корабль. В Одессе им, как когда-то шутцбундовцам в Москве, устроили торжественную встречу. Временно их разместили в гостиницах. Несколько недель испанцы отдыхали. Потом их расселили по разным городам Украины и России. Имевшие квалификацию пошли работать на заводы и фабрики, не имевших квалификации послали учиться. По указанию ЦК испанцам платили как самым высококвалифицированным советским рабочим. Кроме того, им не обязательно было выполнять норму. Так продолжалось три месяца. Потом им сказали, что они должны выполнять такую же норму, как и русские рабочие, но испанцы не восприняли это всерьез и продолжали работать прежними темпами. В конце месяца они пошли за зарплатой и увидели, что получили лишь несколько сот рублей, которых хватило бы всего лишь на восемь дней существования. Они начали бунтовать. Когда их стали успокаивать, темпераментные испанцы разошлись еще сильнее. Чтобы избежать скандала, профсоюз из своих средств выплатил разницу. Месяц прошел спокойно.

Квалифицированные рабочие зарабатывали столько, что им хватало лишь на скромную жизнь, зато неквалифицированные получали так мало, что не могли купить даже самого необходимого. Испанцы становились все более беспокойными. Многие бросили работу и уехали в Москву, где наведались в испанскую секцию Коминтерна. Там им помогли деньгами и отправили назад, на рабочие места.

На паровозостроительном заводе в Харькове, где работало сорок испанцев, произошла настоящая забастовка. Это привело к вмешательству НКВД. И будто по условному сигналу, во всех городах начались аресты испанцев. ОСО за «контрреволюционную деятельность» приговаривало их к восьми-десяти годам лагерей.

¹⁰ МОПР – Международная организация помощи борцам революции (1922–1947) – коммунистическая благотворительная организация, созданная по решению Коминтерна в качестве коммунистического аналога Красному Кресту.

¹¹ Дмитрий Захарович Мануильский (1883–1959) – советский и украинский политический деятель. С 1922 года работал в Коминтерне; с 1924 года член Президиума Исполкома Коминтерна (ИККИ), в 1928–1943 годах секретарь ИККИ.

В 1940 году в Норильск прибыла группа из 250 испанцев. Дети юга должны были на Крайнем Севере отбывать свое наказание. Большинство из них заболело еще во время транспортировки. Доехавшие же рассказывали, что из Москвы их выехало более трехсот. В Норильске часть из них сразу отправили в больницу, а другую часть врачи признали непригодными к труду. Из двухсот пятидесяти испанцев сто восемьдесят нашли себе вечное успокоение в Норильске. Остальных в сорок первом году отправили в Караганду.

Штрафной лагерь Коларгон

В Норильске было несколько штрафных отделений для нарушителей дисциплины или совершивших преступление. В таких отделениях находились от одного до шести месяцев. Но были и такие, которые никогда не покидали штрафных отделений.

Самым страшным из всех штрафных отделений был находившийся на окраине Норильска Коларгон. Попадавший туда терял всякую надежду на жизнь. В Коларгоне было два режима – лагерный и тюремный. Начальник отделения распределял заключенных согласно виду наказания. Но на работу ходили все, независимо от категории. Разница была лишь в том, что заключенных с тюремным режимом по окончании работы запирали в камерах, а заключенные с лагерным режимом до определенного времени могли свободно передвигаться. В Коларгон попадали те, кто отказывался идти на работу, а таких среди уголовников было много. Для «настоящего вора» работать было стыдно. Они этот принцип отстаивали последовательно, что было не так трудно, так как лагерное начальство смотрело на них сквозь пальцы.

Но горе тому политическому, который по какой-либо причине отказался бы выходить на работу! Среди политических это делали лишь те, кому запрещали работать религиозные убеждения. Существовало много всяческих сект, самих различных вероисповеданий, но больше всего было так называемых субботников. Впрочем, не все субботники отказывались от работы, хотя и могли отказаться работать на «антихриста Сталина». Когда обычные дисциплинарные средства, такие как карцер или урезанный паек и т. п., не помогали, их отправляли в Коларгон, где они должны были жить и трудиться среди опаснейших преступников.

Заключенные с помощью разных способов увиливали от тяжелой работы. Они обычно где-нибудь прятались: некоторые отдирали доски от пола и залезали под пол барака, другие долго сидели в уборной, третьи прятались в морге. Но поскольку начальство навевало и туда, то они зарывались в гору трупов. Иные же и не пытались скрываться, а открыто заявляли, что они не могут выходить на работу. При этом они приводили разные причины: болезнь, нехватка теплой одежды, отсутствие валенок. В таких случаях бригадир ставил в известность заведующего отделом труда или кого-то из его многочисленных помощников. Помощник звал на помощь одного или нескольких вохровцев, и те, вооружившись дубинками, приходили в барак и требовали, чтобы заключенный вышел на работу. Если тот и дальше отказывался, его начинали бить. Обычно это заканчивалось тем, что упряма отволакивали в карцер и там избивали.

Но случалось и так, что заключенного не удавалось выгнать на работу ни уговорами, ни силой. Заключенный раздевался догола, прятал одежду и залезал на нары, а вохровец не решался выгонять голого на сильный мороз.

Однако вскоре решили проблему таким образом, что заранее готовили новый комплект одежды. Но поскольку большинство отказывалось надевать этот резервный комплект, их силой стаскивали с нар, выносили на улицу и бросали в сани, запряженные лошадью. Там их укрывали мехами, привязывали веревками и в таком виде везли на место работы. А там им уже ничего не оставалось делать, как одеваться. Но работать они все-таки не могли: у большинства отмерзали члены. И тем не менее лагерное начальство этими мерами добилося того, что перестало увеличиваться число отказников от работы.

Заключенного, несколько раз отказавшегося выходить на работу, отправляли в Коларгон. Большинство штрафников в Коларгоне работало в каменоломне, но были там и сельскохозяйственные работы. Работать в Коларгоне было не намного тяжелее, чем в лагере, но условия там были настолько ужасными, господствовало такое своеволие, что нормальный человек такое выносить долго не мог. Если в лагере существовал определенный порядок, не

позволявший доводить голодных и утомленных людей до полной потери работоспособности, что поставило бы под угрозу срыва выполнения плана, то в Коларгоне ничего подобного не было и начальство могло делать, что хотело, не боясь последствий.

Продукты воровали, как хотели, отдавая излишки тем, кто по работе этого менее всего заслуживал. Между уголовниками шла постоянная война. Они делились на две группы: так называемые «воры в законе» и «суки». «Ворами в законе» считались те, кто твердо придерживался принципа не делать компромиссов с лагерной администрацией. Это значило, что они не желают ни работать, ни быть погонялами, а хотят вести только паразитическую жизнь. Такие лишь ждали благоприятного момента, чтобы бежать из лагеря и на свободе, пусть самое короткое время, воровать, грабить, убивать, словом, действовать по своей «специальности». Бежать из Норильска было почти невозможно, но некоторые бежали из лагеря для того, чтобы в самом Норильске грабить и убивать имевшееся там небольшое количество вольнопоселенцев. Таких быстро ловили и снова судили, но им было все равно.

«Суками» считались те уголовники, которые были в хороших отношениях с лагерным начальством и чаще всего работали в лагере служащими, погонялами и осведомителями.

Война между уголовниками иногда принимала жестокие формы. Ежедневными явлениями стали убийства, тяжелые ранения и избиения. На стройплощадках часто происходили настоящие сражения. Вместо оружия использовались инструменты. Уголовники бы уничтожили друг друга, если бы не вмешательство охраны.

Честному человеку было невыносимо жить в Коларгоне. Но не сладко приходилось и уголовникам. Выйти оттуда раньше срока было невозможно, поэтому они искали самые разнообразные способы освобождения. Самым распространенным было уродование себя. У многих не хватало мужества уродовать себя самим, и они проделывали это друг над другом. Обычно делалось это следующим образом: приволакивался пень, палач становился рядом с топором в руке, затем один за другим подходили самые храбрые и клали на пень два или три пальца. Таким образом они избавлялись от привлечения к тяжелым работам. Когда самоуродование приняло слишком большие размеры, администрация приказала не отправлять больше таких заключенных в больницу, а перевязывать их врачу на месте. Так они были вынуждены оставаться на стройплощадке. Многие от этих повреждений умирали, поскольку из-за отсутствия гигиены начиналось заражение.

Преступники искали и находили новые пути бегства из Коларгона. Они совершали новые тяжкие преступления, после которых их отправляли в тюрьму. Но это происходило лишь после очередного убийства. Например, какой-нибудь заключенный сидел у костра, уголовник же незаметно подходил к нему и проламывал череп. Только в 1939–1940 гг. таким образом было убито свыше четырехсот человек. Следствие длилось обычно три-четыре месяца, в это время преступнику запрещалось работать, и он весь день лежал в тюремной камере на нарах. Когда же и этот способ увиливания от работы принял массовый характер, начальник управления НКВД приказал вести расследование прямо в Коларгоне, не отправляя убийц в тюрьму.

Провокаторы

В НКВД не удовлетворялись лишь тем, что хватали невинных людей, бросали их в сотни тюрем и тысячи лагерей, разбросанных по всему Дальнему Северу, но еще и постоянно шпионили за ссыльными и заключенными. Среди осужденных они вербовали разных людей, которым вменяли в обязанность постоянно следить и подслушивать разговоры. Естественно, из невинно осужденного человека не так уж и сложно вытащить слова недовольства, ругательства или оскорбления в адрес режима и НКВД. Особое внимание в НКВД уделяли людям, считавшимся «опасными». НКВД создал целую сеть провокаторов, шпионов и осведомителей, которым взамен обещали легкую работу или досрочное освобождение.

Однажды подошел ко мне заключенный Рожанковский и спросил, откуда я родом. Я ответил, что я из Вены. Мне показалось, что его это очень обрадовало. Он сказал, что учился в Вене, и восторгался венскими красавицами. Мне было приятно встретить «земляка». Мы говорили обо всем и всяком. Рожанковского интересовало, трудно ли мне работать, хватает ли мне еды. Я рассказал ему все в точности, как было. Он обещал поговорить с одним своим приятелем на кухне, который будет меня подкармливать, а может и попробует меня туда устроить. Я был очень благодарен Рожанковскому. Через некоторое время он снова подошел ко мне и сообщил, что переговорил с шеф-поваром и тот готов кое-что для меня сделать. Когда я, наконец, обратился к шеф-повару Ларионову, тот спросил меня, работал ли я когда-нибудь на кухне. Я ответил, что не имею никакого понятия о приготовлении пищи.

– Ну ладно, я посмотрю, что можно для вас сделать, – сказал Ларионов.

Его, однако, интересовало и мое прошлое. Вкратце я рассказал ему, что я австриец и функционер компартии Австрии, что я много лет работал в компартии Югославии, что я некоторое время жил в Париже, а в 1932 году приехал в Москву. Ларионов внимательно слушал. Стараясь поощрить меня к дальнейшему разговору, он приказал повару накормить меня приличным обедом. Через несколько минут передо мной стояла алюминиевая миска с куском мяса и клёцками и лежал большой кусок хлеба.

– Сначала поешьте, Штайнер, а потом поговорим.

Блюдо мне очень понравилось, в комнате было тепло, я даже вспотел. Затем Ларионов спросил, не хочу ли я еще чего-нибудь. Я поблагодарил. Оставшийся кусок хлеба он завернул в бумагу, принес большой кусок сахара и, улыбнувшись, протянул мне все это.

– Скажите откровенно, Штайнер, когда вы гуляли по улицам европейских городов, думали ли вы о том, что у социализма может быть такое лицо?

– Нет, – ответил я коротко.

Но Ларионова не удовлетворил мой краткий ответ. Ему хотелось услышать дальнейший ход моих рассуждений, и мы продолжили разговор. Я говорил ему о том, что миллионы людей, которые и поныне верят в социализм, имеют о нем совершенно иное представление. Они твердо убеждены, как и я прежде, что в России строится новый мир, что это счастье не только для русского народа, что вскоре свобода и благоденствие овладеют всем миром. А что же из всего этого вышло? Режим насилия и террора, миллионы невинных, сидящих в лагерях и тюрьмах. Одним словом, обман. Ларионов слушал меня с восторгом и просил приходить еще.

– Приходите, когда проголодаетесь. Такие люди, как вы, не должны голодать. Я поговорю с нарядчиком отделения, чтобы вас устроить на кухне.

Я познакомился с сестрой Генриха Ягоды

В тот же день ко мне с кухни пришел человек и сказал, что меня зовет Ларионов. С явным удовольствием Ларионов сообщил мне, что ему удалось уговорить заведующего кухней Лехмана устроить меня на кухню, а он, Ларионов, позаботится о том, чтобы найти мне легкую работу. На кухне был жернов для перемалывания овса. Эту машину сконструировали сами заключенные. Ларионов отвел меня в небольшое помещение, показал этот жернов, объяснил, как им пользоваться, и спустя полчаса я уже молот. Я был счастлив. Работа была нетрудной, было тепло, кормили хорошо. Жернов работал целые сутки.

Моей сменщицей была сестра бывшего шефа НКВД Таисья Григорьевна Ягода.

Генрих Ягода, ее брат, бывший владелец аптекарского магазина, шестнадцать лет работал в ГПУ. В 1933 году Сталин наградил его орденом Ленина, а в 1935-м назначил народным комиссаром Государственного политического управления. В 1938 году он обвинил его как агента иностранных держав. Ягоду приговорили к смерти и расстреляли.

Таисья Ягоде было около тридцати двух лет¹². Это была высокая стройная женщина с черными, чуть тронутыми сединой волосами. Ее арестовали только за то, что она была сестрой Генриха. Осудили ее на десять лет лагерей. Много неприятностей пришлось ей натерпеться из-за того, что была она сестрой страшного наркома внутренних дел. И служащие, и охранники, и уголовники пакостили ей, где только могли. Она была счастлива, что я стал ее напарником. До меня с ней работал постоянно над ней издевавшийся уголовник. От повара я приносил столько еды, что хватало на двоих. Но когда однажды повара заметили, что я делюсь едой с Таисьей, то сказали, что мне больше ничего не дадут. Я пытался им объяснить, что бедная женщина ни в чем не виновата. Это не помогло. Они теперь перенесли свою ненависть и на меня. Сначала Таисья разговаривала мало, но в конце концов она мне стала доверять и рассказала подробности из своей жизни и жизни своего брата.

Однажды в воскресенье мы с ней сидели в помещении, где обрабатывали рыбу. Мы были одни. Таисья сказала, что я ей симпатичен и что она уже давно страдает без друга. Она прислонила голову к моей груди. Я уже много лет не был близок с женщиной. Хотя я сейчас жил в более-менее нормальных условиях и чувствовал себя в хороших кондициях, но Таисья, как женщина, по непонятным причинам, меня не привлекала. Я потихоньку отстранился от нее. В тот день я был в ночной смене, и Таисья оставалась со мной до одиннадцати часов. У меня был достаточный запас муки, и мы могли отдыхать часа три. Мы говорили с ней о ее брате. Я спросил ее, как же все-таки случилось, что его расстреляли, ведь он был близким сотрудником Сталина? Сначала она отказывалась отвечать, но потом заговорила о брате как об очень добром человеке.

— Если бы он был злым, он и по сей день занимал бы свой высокий пост. Мой брат должен был умереть. Он не мог более совершать все те злодеяния, которые от него требовал Сталин. Он и так много сделал такого, что приходило в столкновение с его совестью. Он жил в постоянной душевной борьбе. Его душевный кризис с каждым днем все обострялся. А в тот день, когда Сталин убил свою собственную жену, Аллилуеву, началась драматическая борьба. Сталин приказал моему брату найти надежного врача, который мог бы написать заключение, что его жена совершила самоубийство. Мой брат пригласил известного специалиста по болезням сердца Левина и объяснил ему ситуацию и требование Сталина. Левин ужаснулся. На это мой брат сказал ему, что он не покинет здание НКВД, пока не сделает того, что от него требуется. Левин решительно отказался. Через нескольких дней в советских

¹² На самом деле Таисья Григорьевна Ягода (по мужу Мордвинкина) родилась в 1895 г. и в момент знакомства со Штайнером ей было уже 44 года.

газетах появилось сообщение о том, что врач Левин арестован за страшные преступления: он сознательно ставил неверные диагнозы, намеренно неправильно лечил руководящих партийных работников, приближая тем самым их смерть, соблазнял малолетних девочек и т. д.

Левина допрашивали и мучили денно и нощно несколько недель. Арестовали его семью. Наконец Левин сдался и подписал заключение, в котором значилось, что жена Сталина совершила самоубийство. А Левин был большим авторитетом в медицинских кругах. По Москве ходило много слухов по поводу смерти жены Сталина, шушукались о том, что здесь не все чисто. Авторитет Левина должен был положить конец этим слухам.

Левина отпустили. В газетах появилась краткая заметка о том, что обвинения против Левина оказались клеветой и что будут строго наказаны все те, кто оклеветал честного советского врача. Но его вскоре снова арестовали и он умер в тюрьме. Все это страшно подействовало на моего брата, и он постоянно размышлял, что ему делать.

Когда Сталин приказал ему убрать Максима Горького, брат оказался в тупике. Известно, что Максим Горький многие годы оправдывал сталинские преступления и поэтому считал себя вправе и поучать самого Сталина. Некоторое время Сталин это терпел, но когда чаша его терпения переполнилась, он решил Горького убрать. Конечно, выполнить это задание должен был мой брат, который часто бывал в доме у Горького, очень дружил с его снохой. Сейчас же он должен был убить человека, с которым дружил. Это было выше его сил.

Однажды Сталин спросил моего брата, как долго «еще будет смердеть» этот Горький. Мой брат испугался. Вернувшись домой, он предпринял все возможное, чтобы ближайших родственников отправить за границу. К сожалению, в этом деле он доверился своему другу Беседовскому, руководителю Иностранного отдела НКВД. Беседовский обещал ему помочь, а сам тут же попросился на прием к Сталину и раскрыл планы своего шефа. Брата тут же арестовали и присоединили к той группе большевиков, которых он сам же недавно арестовал: Бухарину, Рыкову, Пятакову и другим. И вскоре был расстрелян как контрреволюционер и агент империализма, – закончила свой рассказ Таисья.

На кухне я работал недолго. Всего несколько недель. Но причину, по которой меня оттуда выгнали, я узнал позже.

После пакта Гитлер-Сталин

Под конец 1939 года был подписан пакт Гитлера-Сталина. Это был своеобразный раздел мира.

В нашем лагере пакт затронул и австрийцев, и немцев. Во II лаготделении, в бараке № 11, собрали всех немцев и австрийцев. Никто не знал почему. Люди решили поначалу, что их всех вместе хотят расстрелять. Ведь ни для кого не были секретом довольно натянутые отношения между Гитлером и Сталиным, но никто еще не знал, что они заключили пакт. Многие отнеслись к предполагаемому расстрелу равнодушно, и лишь незначительная часть горевала. Но настроение у всех резко изменилось в тот день, когда перед баракom остановился грузовик, переполненный мешками, и нам приказали все это разгрузить. Пришел офицер, вызвал каждого по отдельности и приказал рваную одежду и драную обувь снять и переодеться в новое белье, в новую одежду и обуть новые валенки. Кроме того, каждый из нас получил вещмешок, наполненный солониной, хлебом и сахаром.

Мы спрашивали, что все это значит. Даже попытались кое-что выяснить у офицеров НКВД, которые в тот день были с нами любезны, но они избегали ответов.

А потом в наш барак прибыл шеф НКВД Норильска и сообщил нам, что мы отправляемся в Москву.

Впрочем, отправка в Москву вскоре была отложена. На Норильск обрушилась пурга, и ни один самолет из Красноярск не мог приземлиться. Одному все же это удалось, и на его борту отправилось восемнадцать немцев. Но и они после двухчасового полета вернулись назад. Следовало подождать, пока непогода утихнет. В то время сюда нельзя было добраться ничем иным, кроме самолета.

За время ожидания мы с аппетитом опустошили свои вещмешки, заполненные такими лакомствами. Но у многих после этого начался понос. Наши желудки отвыкли от хорошей пищи. Нам снова наполнили вещмешки. Это было чересчур роскошно. Мы сидели все вместе, рассуждали о последних событиях и гадали о том, что нам готовят и зачем мы им понадобились. Мой друг Рожанковский постоянно был с нами. Его всё интересовало. Он внимательно слушал, одновременно не устывая спрашивать у всех, как они будут вести себя после возвращения в Германию. Наконец погода установилась, и первым же рейсом в Красноярск отправилась группа из восемнадцати человек. На следующий день должна была лететь новая группа заключенных в сорок человек. Но погода снова ухудшилась, и снова пришлось ждать. Прошло десять дней. Нас, оставшихся, вернули в свои бригады и бараки. Никто ни словом не обмолвился о причинах отмены отправки в Красноярск. И только после начала войны между Германией и СССР летом 1941 года тайна нашего транспорта была раскрыта. Летом сорок первого года я встретил в Норильске группу вновь прибывших заключенных, и среди них был человек, который улетел из Норильска в Москву в той самой первой группе. Его звали Отто Раабе.

— Нас перебросили из Норильска в Красноярск, — рассказывал Раабе. — Там мы влились в группу из ста восьмидесяти немцев, которых собрали из разных лагерей Красноярского края. Затем мы вылетели в Москву. Отношение к нам было хорошее. На транзитных аэродромах все было в порядке: питание, отдых и т. п. Нам кормили в железнодорожных ресторанах, где мы могли заказывать даже вино. Мы сидели за столами, покрытыми скатертями. В Москве нас отправили в Бутырскую тюрьму, где нам выделили специальный секс. Камеры закрывали только на ночь, днем мы могли свободно передвигаться, кормили нас обильно. У каждого была своя койка с волосатым матрацем, перьевой подушкой и белым постельным бельем. В тюремной мастерской нам сшили одежду и обувь по размеру. Готовили нас к отправке в Германию, но ничего определенного от тюремной администрации мы узнать не

смогли. Все мы были коммунистами, эмигрировавшими из Германии после прихода к власти Гитлера. И то, что нас собирались выдать национал-социалистской Германии, было равносильно нашей отправке на верную смерть. Мы были ошеломлены, что привело к необычной раздражительности. Многие были уверены, что нас все-таки спросят, хотим ли мы возвращаться на родину. Несмотря на тюрьмы и лагеря, многие оставались тверды в своей коммунистической убежденности, что со временем все образуется.

Настал день, когда один из высших руководителей НКВД стал вызывать каждого по отдельности в свой кабинет и сообщать ему, что Верховный Совет СССР его помиловал и, вместо наказания, высылает его за пределы Советского Союза. Каждый должен был подписать, что он принял это к сведению. Некоторые отказались подписывать этот документ, пытаясь объяснить генералу, что они коммунисты и поэтому не вернутся в Германию. Генерал отвечал, что его не волнуют их желания или нежелания. Они должны ехать и точка! Были среди нас и такие, которые обрадовались возвращению в Германию. Они распевали фашистские песни и ругали всех, кто сомневался в нацизме.

Транспорт отправлялся в Германию раз в неделю. Но вскоре все неожиданно прекратилось. Однажды на завтрак вместо белого хлеба, масла и какао мы получили обычный кипяток и кусочек черного хлеба. Затем нас вернули в лагеря. Вот так выглядела эта наша поездка, — закончил Отто Раабе.

Лагерный эпизод русско-финской войны

Год 1940-й стал годом больших сюрпризов. Советские войска напали на Финляндию. Для нас, бывших на Соловецких островах и видевших, что там готовится, это не было неожиданностью. Вскоре мы увидели и первых жертв войны. В Норильск прибыло шесть тысяч советских солдат, попавших в плен к финнам. После подписания мира советские солдаты оказались в лагере, даже не подозревая, что они за свое пленение получают срок от пяти до десяти лет. Они наивно верили, что речь идет о временной изоляции. Первое время они ходили на работу без охраны, их разделили не на бригады, а на батальоны и роты. Нам с ними все никак не удавалось заговорить, да и у них не было никакого желания разговаривать с нами, поскольку они считали нас контрреволюционерами.

Прошло несколько недель. Вот как-то солдат собрали возле кухни. Они были уверены, что их освободят, и поэтому пребывали в хорошем настроении. Появился уполномоченный НКВД. Вынесли стол, уполномоченный положил на него стопку бумаг, которую он держал под рукой, а начальник лагеря закричал:

– Внимание! Те, которых сейчас будут вызывать, должны выходить вперед и называть свое имя и фамилию.

Солдаты выходили вперед по одному. После установления личности им приказывали становиться либо направо, либо налево, либо выходить на середину площадки. После проверки уполномоченный подошел сначала к одной группе и зачитал решение «Специальной комиссии НКВД», в котором значилось, что все они «за недостойное поведение перед лицом врага» получают пять лет лагерей. Потом он подошел к следующей группе и сообщил им, что они осуждены на восемь лет, солдаты же из третьей группы получили по десять лет. Солдаты были ошарашены. Среди этих шести тысяч большинство было легко или тяжело раненных. Некоторых привезли на родину прямо из госпиталей. Сейчас они раскаивались в том, что не остались в Финляндии.

Зимой 1940 года снежные бураны были такими сильными, что полностью засыпали железнодорожную ветку между Дудинкой и Норильском. Из Дудинки мы получали продукты. Но теперь возник вопрос, как их доставлять в Норильск. Тысячи заключенных круглые сутки очищали от снега железнодорожное полотно, но все было напрасно. Высокие наносы снега, которые они убирали, тут же вырастали вновь. Не помогали и три снегоуборочных плуга. Их очень быстро засыпало снегом. Сообщение между Дудинкой и Норильском прервалось на четыре месяца. Все это время мы жили в палатках, установленных вдоль железной дороги. Это было невыносимо. Нары, на которых мы спали, были поставлены в круг, в центре стояла железная печь, а вокруг нар лежал снег и промерзшая земля. Только в центре, возле печки, было тепло. Возвращаясь после расчистки путей в смерзшейся одежде, мы тесным кругом устраивались вокруг печки для того, чтобы оттаяла наша одежда, служившая нам одновременно и одеялом. Но всем не хватало места. Доходило даже до драки у печки. Никто не хотел уступать захваченное место. Особенно дерзко вели себя уголовники. Они чувствовали себя хозяевами, и никто ничего с ними сделать не мог. И лагерная милиция состояла из уголовников. Политический не мог даже спокойно съесть свой хлеб – уголовники вырывали его из рук.

Продовольственные припасы в Норильске были на исходе. Оставалась лишь белая мука, но она предназначалась не заключенным. И все же, стараясь предотвратить голод, администрация приказала печь хлеб из белой муки и варить клецки. Несколько недель мы ели одни клецки из белой муки.

Бригады, расчищавшие путь, часто оказывались в западне между приближающимся поездом и высокими сугробами снега. Поезд их просто давил. Как-то ночью, в сотне метров

от станции Норильск-2 расчищала снег женская бригада. И на них наехал поезд. Из пятидесяти женщин сорок шесть погибло или было тяжело ранено.

Наконец наступила весна 1941 года. Снежные бураны кончились, железная дорога была очищена, и мы, все заключенные, вернулись в Норильск. Я радовался, снова встретившись со старыми друзьями.

Перед началом советско-германской войны в Норильск прибыл большой транспорт офицеров из прибалтийских стран: латышей, эстонцев, литовцев. Их было 2600 человек. И с этими офицерами вначале поступали так же, как и с русскими военнопленными. Они не ходили на работу, получали улучшенную пищу, носили военную форму. Служащие лагерного управления называли их «товарищами».

Офицеры даже не догадывались, что им готовят. С ними трудно было установить контакт, так как большинство из них не желало разговаривать с заключенными. Из их скудных ответов мы узнали только то, что в начале 1941 года их собрали всех в одном месте близ города Горького, якобы для военных учений. Но оттуда их отправили в Норильск.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.